

ДЖОН

ДАНН

НЕ ОЧАРОВЫВАТЬСЯ

ДЕМО

КРАТИЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

Джон Данн

Не очаровываться демократией

Перевод с английского
Инны Кушнаревой
при участии
Анастасии Пилявской,
Марии Маглёванной

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

МОСКВА • 2016

УДК 66.0
ББК 321.7
Д17

Перевод с английского
Инны Кушнareвой (Предисловие, Введение, Главы 1–4),
Анастасии Пилевской и Марии Магдэванной (Предисловие
к русскому изданию)

Данн, Д.

Д17 Не очаровываться демократией [Текст] / Джон Данн;
пер. с англ. И. Кушнareвой. — М.: Изд-во Института
Гайдара, 2016. — 160 с.

ISBN 978-5-93255-455-5

В этой своевременной и важной книге выдающийся политический теоретик Джон Данн утверждает, что демократия не равнозначна хорошему правительству. Автор рассматривает запутанные реалии, стоящие за базовым понятием демократии, и показывает, как политическая система, которую на Западе считают простой и очевидной, на самом деле является глубоко неясной и во многих случаях не работающей. Утверждая, что якобы идеальный брак между либеральной экономикой и либеральной демократией не может сохраниться или даже решить проблемы современной жизни, Данн пытается показать, как нас опутали чары демократии и почему нам не нужно им поддаваться.

Copyright © 2014 by Yale University
Originally published by Yale University Press
© Издательство Института Гайдара, 2016

ISBN 978-5-93255-455-5

Оглавление

- Предисловие · 9
- Предисловие к русскому изданию · 12
- Введение · 15
- Глава 1. Диагноз для власти
демократии · 23
- Глава 2. Подъем демократии · 57
- Глава 3. Признать дезориентирован-
ность демократии · 91
- Глава 4. Найти свои ориентиры:
фатальность, выбор и понимание · 125

*Посвящается
Анастасии*

Предисловие

ЭТО ОЧЕНЬ маленькая книга об очень большой теме. Я набрался смелости напрямую обратиться к этой теме, потому что Йель оказал мне честь и пригласил прочитать Стимсоновскую лекцию и я счел нужным в ответ подвести итог, настолько четко и ясно, насколько мог, двум десятилетиям размышлений о распространении демократии во всех смыслах этого слова по всему миру. Этот опыт был не всегда приятным. В одних местах переход к демократии был духоподъемным, в других — приводил в отчаяние. Одни его последствия были благотворными. Другие таковыми явно не были. Было бы очень приятно думать, что благотворные последствия были совершенно естественными и легко предсказуемыми, а вредоносные стали неожиданностью и были вызваны целенаправленным злоупотреблением термином или концепцией или совершенно ошибочным пониманием того, что он подразумевает. Сегодня было бы очень глупо верить в такого рода вещи. В этой книге я пытаюсь показать, как отличить политическую силу этой категории, которую можно использовать в борьбе за то, чтобы создавать и пересоздавать нашу совместную жизнь, от ее крайне ограниченной способности прояснять наш политический выбор. В этой силе нет ничего иллюзорного или плохого, но она оказывается слишком критической и ограниченной в качестве

основы для легитимации даже в борьбе со слабыми противниками. Эта категория не обладает достаточной когнитивной силой перед лицом потребности судить, выбирать или защищать свои суждения и выбор. Мы уже какое-то время не слишком удачно совместно судим или выбираем. Едва ли мы будем судить или выбирать лучше, пока не поймем, почему так произошло.

Сколь бы мала ни была эта книга, я накопил много долгов во время работы над ней. Я хотел бы поблагодарить за великодушную помощь коллег и друзей, в особенности в последние годы в Кембридже, в Королевском колледже (в частности Стефана Элфорда) и на факультете политологии и международных отношений (больше всего Эндрю Гэмбла и Данкана Келли). Это во многом книга для Йеля, который на протяжении многих десятилетий не раз был для меня радушным и гостеприимным домом и где у меня много дорогих друзей, с некоторыми из них я дружу уже очень давно, как например с Джимом Скоттом, Иэном Шапиро и Дэвидом Бромвичем; с другими я познакомился в других местах, например с Сильвией Фаррар; а третьих встретил совсем недавно, как, например, Каруну Мантену, Брайена Гарстена, Френсиса Розенблюта и Татьяну Нейманн.

Самый большой интеллектуальный долг, связанный с этой книгой, восходит к очень далеким временам и прежде всего к тем людям, у которых я учился (в особенности к Мозесу Финли) или с кем интенсивно размышлял и преподавал в течение долгого времени, в особенности с несравненным Иштваном Хонтом (трагически ушедшим от нас навсегда), Рэймондом Гойссом и, еще раньше, с Квентином Скиннером. Я также многим обязан тем, кто разделяет мой интерес к судьбам демократии, в частности Су-

дипте Кавираджу, Сунилу Хилнани, Адаму Пшеворскому, Ричарду Бурку, Такаши Като, Такамото Ханцаве и покойным Каниши Фукуде и Гильермо О'Доннеллу. Больше всего из-за моей книги, как всегда, страдали мои дочери, и они должны сами оценить страдания и простить меня, если смогут. Изну Шапиро я благодарен за его неиссякаемое гостеприимство, возможность прочитать эти самые лекции, за не одно счастливое пребывание в Йеле и множество замечательных бесед из вечера в вечер.

Больше всего я обязан завершением этой книги Анастасии Пилявской, придавшей мне воли и сил закончить ее в очень сжатые сроки и сделавшей все возможное, чтобы устранить из книги всевозможные недостатки, за большинство из которых я упрямо цеплялся. Я горячо надеюсь, что ее мужество, интеллектуальная смелость, прозорливость, жажда справедливости и необыкновенная энергия придут на помощь мне еще не раз.

Я благодарен за поддержку и помощь *Yale University Press*, в особенности Уильяму Фрахту и Джайе Чаттерджи, Кейт Девис за тактичную редактуру и за два вдумчивых и критических отзыва, которые издательство заказало своим экспертам. В одном указывалось, что мне следует написать вместо этого более полный и более продуманный разбор очень большой темы, к которой я здесь обращаюсь. Я решил не делать этого, потому что это сбило бы фокус и ослабило воздействие той идеи, которую я здесь пытаюсь донести. Второй отзыв, продемонстрировавший глубокое понимание ее духа, включал продуманные критические замечания политического характера и заставил меня развить и углубить мою мысль. Я еще какое-то время буду обдумывать свой ответ на него.

Предисловие к русскому изданию

ЭТА книга была адресована в первую очередь привилегированной американской аудитории, что без труда заметит внимательный читатель. Ее содержание, однако, не предназначено для какого-то конкретного круга читателей. Книга рассчитана на всех тех, кто задумывается об опасностях, присущих политике, и о спектре возможностей, которые она предлагает в любой точке мира. Цель этой работы — показать, как идея демократии касается и не касается этих опасностей и возможностей. Я хочу обратить внимание читателей на то, какой уникальной силой обладает демократия в языке мировой политики, и на колоссальную неясность того, что она позволяет нам выразить. Эти две черты демократии тесно взаимосвязаны. То, что дало демократии такую политическую силу в современном политическом понимании и конфликтах, также делает ее уникальной по своей коварности категорией для суждений о политике, независимо от места и времени.

Когда-то демократией называлась конкретная форма политического устройства. Сегодня ясность и определенность этого обозначения утеряны; вместо этого под демократией стали понимать основы для претензий на власть — оправданной, но без «Божией благодати» — в любой стране мира. Претензия на право править сегодня предопределяет стабиль-

ность любого значимого общества, особенно такого, где жизнь формируется аппаратом государства на подконтрольной ему территории.

В любом современном обществе значимость и восприятие демократии зависят от истории его страны и от языка, на котором эта история была описана и дошла до нас. Очевидно, что в России, Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве демократии придают различную значимость и по-разному ее воспринимают. В мятежном 1917 году в России демократия была для многих синонимом не стабильности повседневной жизни, а анархии и хаоса. Когда большевики взяли власть, которая просто валялась под ногами в том роковом октябре, это было сделано от имени народа, но явно не самим народом. Правящая партия с ее демократическим централизмом имела достаточно очевидный центр, но не давала слова народу, от имени которого правила. Она не испытывала большого уважения к этому народу и еще меньше доверяла его политическим суждениям.

Те, кто сегодня пришел к власти на смену этой партии, выказывают не больше уверенности в политических суждениях своего народа; однако их власть основана на регулярном выражении народом своих предпочтений, которым, впрочем, не позволяют заходить слишком далеко. Делая это, власть предрежащие платят свою дань силе демократии как политической категории. Эта дань более показательна с точки зрения глобальной истории политического языка, чем с точки зрения достоинств или беспардонности его применения к правительству России или любой другой страны. Демократия — неподходящее слово для описания какого-либо политического устройства, поскольку оно слишком метафоричное и чересчур льстивое, чтобы отражать практические качества любого правительства; в самой категории демокра-

тии нет ничего такого, что сможет гарантировать или оздоровить работу любого реального правительства.

Хорошим или плохим правительство делают его действия или бездействие. Из текста конституций или из формальных процедур, посредством которых правительства набирают свой персонал или избавляются от него, невозможно узнать о личной безопасности и свободе граждан, преуспевании или бедствовании любого сообщества. Как бы ни обстояли дела в те эпохи, когда люди занимались лишь охотой и собирательством, современным обществам нужны правительства. Как бы незаменимы ни были правительства, все они несовершенны, но одни явно менее совершенны, чем другие. Хорошими или плохими конкретные правительства делает не то, как они приобрели свою власть. Таковыми их делает только то, как они этой властью пользуются и что такое использование означает для личной безопасности и благополучия каждого гражданина их страны. И это может иметь лишь отдаленное отношение к обстоятельствам, при которых нынешние правители оказались у власти.

Таким образом, в любой стране мира граждане отчетливее увидят свою политическую судьбу, если сосредоточатся на том, как правительства влияют на их собственную жизнь, и не будут пытаться интерпретировать это влияние через категорию демократии. Идеологическая мощь этой категории неслучайна, но она отвлекает внимание сегодняшнего мира, когда общество пытается разобраться в своих политических трудностях и понять, как лучше с ними справиться. Эта книга — попытка объяснить эту мощь и помочь всем читателям противостоять отвлекающему воздействию этой мощи. Я надеюсь, что эта книга — для России в той же мере, что и для любой другой страны мира.

Лондон, 19 июня 2015

Введение

В ЗАПАДНЫХ обществах мы сегодня постоянно убеждаем себя в том, как же нам повезло в ряде определенных, но дополняющих друг друга отношений. Хотя сами мы оказываемся заложниками отвратительного неравенства в силу наших индивидуальных судеб, принадлежности к определенным семьям и классам, мы находим успокоение в том, что рассматриваем себя как единую коллективную сущность, которой во многих отношениях выпала счастливая историческая судьба. В какой-то своей части эти чувства, как и лежащие в их основе суждения, вполне разумны. Почти для любого из европейцев было лучше родиться после, а не до Второй мировой войны¹, и также лучше родиться после Второй мировой войны, чем в какой-то неудачный момент до Первой мировой войны². Однако многие из этих наших оптимистических оценок нашего везения, равно как и тесно связанные с ними чувства, являются плодом крайне слабых рассуждений. Основная задача данной книги — показать, как и почему так получилось, и подсказать, как нам начать рассуждать лучше.

1. *Judt T.* Postwar. London: Vintage, 2010.

2. *Fussell P.* The Great War and Modern Memory. Oxford: Oxford University Press, 1975.

Откуда возникло наше чувство исторического везения, на чем оно основывается насколько прочны эти основания? В первую очередь мы стали считать, что нам повезло, в силу того экономического устройства, благодаря которому и в рамках которого протекает наша жизнь: одни, несомненно, оказываются удачливее всех остальных, но говоря о жизни, мы говорим и везении, а значит, возможно, и о несправедливости³. Во вторую очередь мы ощущаем, что нам повезло с нашим политическим устройством, с которым мы живем, — потому что оно справедливо и достойно — и обеспечивает нам высокий уровень безопасности, опять-таки одним из нас гораздо больше, чем остальным (и в данном случае неравенство оказывается труднее рассматривать как естественное следствие, а не как определенный политический выбор). В-третьих, мы считаем, что нам повезло в силу счастливого (возможно, даже уникального) сочетания нашего политического и экономического устройства и того, сколь простые, дружелюбные и уважительные социальные отношения оно самым естественным образом порождает.

Это экономическое устройство, как нам хочется думать, включает в себя главным образом структуры свободного обмена между людьми, которые со временем превращаются в доходы от капиталовложений. (Не спрашивайте, откуда берется капи-

3. Мнение о том, что жизнь в том виде, в котором она проживается, можно отличить от везения в некоторых ключевых аспектах, занимает центральное место в творчестве Рональда Дворкина (см., например: *Dworkin R. Sovereign Virtue: the Theory and Practice of Equality*. Cambridge: Harvard University Press, 2000. В этой работе он особенно ярко расходуется с: *Rawls J. A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971; *Ролз Дж. Теория справедливости*. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1995).

тал!) Аналогичным образом политические структуры — это структуры свободного самоуправления по-настоящему равноправных граждан, жидущиеся на столь же свободном индивидуальном выборе, осуществляемом на основе свободного обмена мнениями, граждан, чье равноправие обеспечивается конституционными гарантиями через равноправное голосование на всеобщих выборах. Более древние гарантии личной безопасности и гражданских свобод, с той или иной степенью глубины воплощенные в государственном праве или подробно описанные в конституциях, поддерживают структуры, которые одновременно заслуживают доверия сами по себе и оказываются ценны на других, не менее убедительных, основаниях. Совокупность этих структур, «либеральная демократия», как ее многие теперь называют, не обеспечивает каждого всем, чего бы он ни пожелал, поскольку у людей по-прежнему разные вкусы и предрассудки и никакое политическое устройство не в состоянии удовлетворить их все и всегда, тем более оно не гарантирует, что они всегда будут удовлетворяться. Но можно вполне достоверно сказать, что в течение последних двух третей столетия такого рода сочетание политического и экономического устройства предложило подобные основания для удовлетворенности бóльшему количеству людей на бóльших территориях, чем любые другие устройства прежде. Почему же мы не должны думать, что оно и дальше продолжит это делать все сильнее и шире, насколько хватает глаз?⁴

4. *Fukuyama F. The End of History and the Last Man. London: Hamish Hamilton, 1992; Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004; Fukuyama F. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. London: Profile, 2011; Фукуяма Ф. Государственный порядок. М.: АСТ, 2015. Dunn J. The Cunning of Unreason.*

Эта оптимистическая оценка была бы верна, если бы выполнялись два условия, и она даже могла бы быть вполне достоверной, если бы мы знали две вещи. Во-первых, нам нужно было бы знать, что этот счастливый исход имеет все необходимое, чтобы продолжаться в пространстве и во времени. (Чтобы мы могли это знать, нужно, чтобы было истинно, что он таковым является, и чтобы у нас были средства, позволяющие нам это с уверенностью установить.) Во-вторых, мы должны были бы своими глазами убедиться, что такой исход дает возможность эффективно справляться с непосредственными проблемами коллективной жизни внутри отдельных стран и в отношениях между ними хотя бы в настоящем. Поскольку ни одно из этих условий убедительно не выполняется, у нас сегодня есть вполне веские основания относиться к этому исходу скептически: не столько как к безмятежной, глубоко проникшей повсюду и самоподдерживающейся тотальности, сколько как к сложной и весьма непрозрачной исторической случайности, отношения внутри которой остаются неустойчивыми, уязвимыми и все время полными опасностей⁵.

Главное суждение, лежащее в основе данной книги, — острая потребность для жителей богатых западных стран научиться более четко отличать (преимущественно) счастливую случайность от волшебной формулы, с катастрофическими последствиями просцируемой из недавней истории существующих демократий. Их неспособность это сделать указы-

London: HarperCollins, 2000. *Dunn J.* Capitalist Democracy: Affinity or Beguiling Illusion? // *Daedalus* 136. № 3. 2007. P. 5–13. *Dunn J.* Democracy and Its Discontents // *National Interest*. № 106. March-April 2010. P. 54–63.

5. *Dunn J.* The Cunning of Unreason.

вает на невысокий уровень политического понимания. Перед лицом экологического упадка, малопонятной угрозы климатического дисбаланса, всевозможных политических и экономических перекосов в системе международной торговли и финансов и растущей дисфункциональности, от которой страдает политика всех ведущих демократических государств и их общие институты, эта вера в прямую очистительную силу нашего понимания демократии представляется крайне необоснованной.

Что по-настоящему важно в политических идеях, так это то, что происходит с ними и благодаря им в политической практике. Нет другого такого слова во всей истории человеческой речи, с которым и посредством которого произошло бы больше, чем со словом *демократия*. Даже слово *Бог* не может с ним сравниться, хотя уже давно слова, обозначающие Бога или богов, все труднее переводить с одного языка на другой. Как бы то ни было, в западных странах, а теперь, вероятно, и по всему миру, одним из важнейших предварительных условий для улучшения способности к политическим суждениям является признание того, что в последнее время произошло со все еще таким харизматическим, но почти никогда ничего не проясняющим словом, как *демократия*, и благодаря ему.

В этой короткой книге я попытаюсь более четко показать контуры всех тех процессов, которые сами по себе невероятно сложны и ставят в тупик, но которые тем не менее странным образом объединяет судьба этого уникального слова, многообразные попытки более или менее ясно перевести его на большее число языков и более спорадические попытки понять, что же несет его стремительное распространение людям, попавшим в его орбиту. Почти с любой релевантной точки зрения это единство

неизбежно оказывается обманчивым и фантастичным, но это его несколько не умаляет. В некотором смысле оно указывает на чары, опутавшие политическое воображение. В этом случае самая насущная проблема, которую такое единство ставит перед историками и социологами, и, возможно, даже перед философами, теологами и экологами, — понять действие этих чар: ухватить механизм, который сделал это слово столь эффективным там, тогда и в той мере, в которой оно оказалось эффективным.

Это вызов для академической науки, и, конечно, для одних дисциплин он оказывается более актуальным и закономерным, чем для других. Кроме того, сегодня это вызов, который оказывается не способна принять даже политическая наука, больше всего заинтересованная в этом дисциплина. Но у большинства из нас попросту нет выбора, за исключением тех случаев, когда мы благополучно и благоразумно игнорируем политику в ее устрашающем единстве из-за отвращения, равнодушия или бездумной невосприимчивости к тому хаосу, который она может породить в нашей жизни. Рано или поздно в жизни большинства взрослых людей эта бездумность будет безвозвратно утрачена, и могут потребоваться десятилетия для того, чтобы нечто похожее на нее снова стало нам доступно. Сегодня любой из нас, кто может услышать звуки этого хаоса и ужаснуться услышанному, в своих суждениях о том, на что надеяться, чего бояться и какой образ действий избрать, исходя из этих суждений, должен увидеть, что случилось с этим могучим потоком слов и посредством него. Только разглядев это, мы сможем надеяться судить хоть сколько-нибудь серьезным и нереактивным образом о том, каким нашим политическим институтам и практикам можно доверять и как

научиться лучше отличать их от того, доверять чему было бы абсурдно или даже самоубийственно. Неудивительно, что фраза «Не доверяйте государям» часто оказывалась мудрым советом. Насколько больше доверия (и какого рода доверия) должны мы оказывать демократии как политической идее или специфической форме правления?

Как бы то ни было, в политической практике демократия — идея, которая постоянно колеблется между легковерием и паранойей. Но почему она оказалась столь шаткой и как нам научиться удерживать ее между этими полюсами?

Для начала можно провести более четкое различие между теми формами, в которых демократия фигурировала в этой запутанной истории. Во-первых, просто в качестве слова; во-вторых, как идея или сборка идей, которую стало обозначать одно слово по мере того, как они распространялись по миру. В-третьих, в качестве популярного у большинства из тех, кто сегодня пользуется этим словом, значения, отсылающего к целому ряду государственных форм и связанных с ними институтов, которые присваивают себе это слово в качестве титула и полагают, что обозначаемой им идеи достаточно, чтобы санкционировать свой авторитет. У каждой из этих форм своя история. Каждая сегодня непрерывно указывает на две другие и потому постоянно испытывает на себе воздействие их траекторий. Ни одна из них не может предложить наиболее выигрышной точки, с которой можно изучить и охватить целое. Чтобы яснее это увидеть, мы должны продвигаться вперед с большим терпением и с гораздо большей осторожностью.

ГЛАВА 1

Диагноз для власти демократии

ПОНИМАТЬ демократию как синоним хорошего управления сегодня совершенно естественно для американцев (и довольно соблазнительно для многих других народов по всему миру). Судя по недавним свидетельствам из высшего света, некоторые американцы даже интуитивно считают, что эта лингвистическая эквивалентность некоторым образом приводит к практической причинности, поэтому если предоставить какой-то очень далекой стране все необходимые структуры для демократии, она автоматически научится хорошему управлению. Когда в этом слове слышат подобный скрытый смысл, возможно, это и говорит о простодушии, но их практическое уравнивание отнюдь не невинно. Так или иначе, всемирный роман с демократией распространил вокруг столько же тьмы и неразберихи, сколько пролил света. У современного политического мира, в котором мы живем, есть некоторое центральное свойство, которое нам никак не удастся понять, и отныне трудно не заметить тот факт, что один из основных элементов, порождающих и усугубляющих нашу путаницу, происходит от глубочайшей непрозрачности и нестабильности главной идеи, с помощью которой мы пытаемся сориентироваться.

Главная задача данной книги — прояснить эту непрозрачность и нестабильность. В ней я пыта-

юсь достичь этой цели, изучив сначала источники сегодняшних притязаний демократии на авторитет, а потом попытавшись идентифицировать процессы, благодаря которым эти притязания пережили столь примечательный подъем. На основании этого я далее пытаюсь указать основные механизмы, посредством которых этот подъем ослабил нашу коллективную способность к политическому суждению. В завершении в книге исследуются все еще имеющиеся у нас возможности, позволяющие снова сориентироваться и научиться не столь пагубно выносить суждения в будущем.

Это откровенно антиамериканская повестка. Что можно в самом начале сказать в ее оправдание, так это то, что ее цели вовсе не антиамериканские и она ни в коем случае не содержит в себе вражды по отношению к народу Соединенных Штатов, великого государства, которое служило путеводной звездой для судеб мира в мое время, государства, которое во времена моего детства, вступив в хрупкий союз с Красной Армией и разбитыми остатками все еще свободной Европы, в самый трудный час сохранило возможность цивилизованной жизни. Потребовалась определенная смелость, чтобы так откровенно обсуждать эти вопросы в более чем публичной обстановке не где-нибудь, а в Йеле. Никто из занимающихся политологией в США не мог не заметить, какое огромное воздействие в течение последних шестидесяти лет оказывали йельские интерпретаторы драмы американской демократии, некоторые из которых до сих пор живы и здоровы и продолжают жить в Нью-Хейвене: Роберт Даль, Чарльз Линдблом, хотя он там больше не живет, Роберт Лейн и Дэвид Мейхью вместе с поколениями более молодых ученых, пошедших по их стопам, некоторых из которых я имею честь

называть своими друзьями. Кроме того, эти вопросы до сих пор подобает задавать под эгидой и в память о Генри Стимсоне, величайшем американском государственном деятеле, стоявшем у истоков послевоенной реконструкции и являвшем собой фигуру, которая в силу своих общественных обязанностей должна была больше, чем кто-либо еще, рассматривать интересы американских граждан в глобальном контексте, в котором до сих пор живут их потомки¹.

Если сформулировать цель данного исследования просто, то она заключается в де-эндемизации (*de-parochialize*) понимания демократии сегодня и завтра — в том, чтобы отделить, насколько это возможно, в этом клубке идеи, которые стал обозначать этот термин, и связанные с ними политические феномены от случайностей местного политического опыта и перенести их в глобальный контекст, который сам этот термин, без всякого сомнения, задействует². Это весьма амбициозный проект. Каждый человек родом из очень узкой и безнадежно эндемической среды и едва ли может надеяться радикальным образом де-эндемизировать что-либо, тем более источник привлекательности единственной могущественной политической формулы в сегодняшнем мире. Единственное относительное преимущество, которое дает любому постановка этого вопроса, связано с чувствительностью к неизбывным опасностям политического эндемизма в тесно взаимосвязанном мире,

-
1. *Morison E. E. Turmoil and Tradition: A Study of the Life and Times of Henry L. Stimson.* Boston: Houghton Mifflin, 1960.
 2. *Dunn J. The Cunning of Unreason; Dunn J. Setting the People Free: The Story of Democracy.* London: Atlantic Books, 2005.

в котором все мы сегодня живем, и с неослабевающими усилиями понять, как экуменический размах этой харизматической категории уравнивает упрямый эндемизм, который, как рано или поздно становится известно каждому из нас, обозначает данный термин.

В случае Америки в последние годы обостренно эндемический характер ее мировоззрения нанес многим миллионам людей тяжкий ущерб, точно так же, как это случилось во время моего первого пребывания в США в середине 1960-х годов и как это произошло в моей собственной стране за четверть столетия до этого, незадолго до моего рождения. Через ущерб американским гражданам, который он наносил тогда, он также наносит, и сейчас снова наносит, огромный сопутствующий ущерб их долгосрочным человеческим интересам. То, как граждане и политические элиты Соединенных Штатов понимают демократию, имеет огромное значение: что она означает, что порождает в мире, что требовалось для ее появления на свет и что теперь требуется, чтобы она более или менее гарантированно сохранялась в данной обстановке. Это имеет значение для множества людей, о которых американцы почти ничего не знают, и в силу того, что это так важно для этих людей, это понимание долгое время имело большое значение и будет сохранять его для американцев и их детей, а позднее и для их внуков.

Почему слово *демократия* сегодня сохраняет такой политический авторитет? Где та власть, которая так странно в нем таится? На что именно соглашаются современные люди, когда поддаются чарам демократии?

Эти вопросы можно услышать в самых разных формулировках и попытаться ответить на них со-

ответственно. Один из способов ответа — набросать историю того, как это слово так высоко вознеслось. Но чтобы это сделать, необходимо сначала обратиться к более неотложному вопросу: что собой в действительности представляет это возвышение? Этот вопрос состоит из двух частей. Что именно возвысилось на волне подъема демократии; что такое демократия в том виде, в котором мы стали ее понимать и испытывать на собственном опыте? И что есть такого в демократии, что позволяет ей приобретать и сохранять свою притягательность?

То, что добилось возвышения, расплывчато по содержанию, но легко узнаваемо по форме. По сути дела, демократия — это прежде всего формула, позволяющая представить себе подчинение власти и воле других без того, чтобы поступиться своим личным достоинством или поставить под удар индивидуальные или семейные интересы. У любой такой формулы неизбежно шаткое положение в политической практике, потому что само по себе подчинение ущемляет достоинство и потому что оно логически исключает полную защиту чьих бы то ни было интересов.

Вы можете сразу же представить себе воображаемое давление на эту формулу, если вспомните, что триста лет назад практически повсюду в мире, где могло писаться или произноситься слово *демократия*, оно было синонимом не хорошего, а плохого правления. Вероятно, было бы натяжкой утверждать, что *демократия* четыре столетия назад было словом-изгоем. Как строго заметил мой друг Квентин Скиннер, когда я сделал подобное утверждение³, демократия все же получила свою долю ува-

3. *Dunn J. Setting the People Free: The Story of Democracy. London: Atlantic Books, 2005. P. 71.*

жения по важному поводу от такой неожиданной фигуры, как король Англии Карл I, хотя, возможно, что и под определенным политическим давлением. Никому, однако, не придет в голову считать поддержку Карла I безоговорочным принятием. Пункт, по которому он намеревался уступить, состоял не в том, что сама по себе демократия может быть достаточным условием или даже полезным вкладом в хорошее правление, но лишь в том, что демократия, будучи аккуратно встроена в крайне ограничительную структуру противодействующих друг другу сил, может внести нечто свое в тот ряд преимуществ, которые можно гарантированно получить от смешанного правления (где элементы демократии сочетаются, как правило, с более существенными и значимыми элементами монархии и аристократии), и что при таких ограничительных условиях и только при них демократия могла бы лучше обеспечить это благотворное дополнение, чем чистая монархия или чистокровная аристократия.

Этой специальной добавкой, как определил ее Карл в своем знаменитом «Ответе на XIX предложений» в июне 1642 года⁴, была свобода (*liberty*), термин, имевший большой идеологический резонанс в истории Англии, и ценность, против которой не мог безнаказанно выступить ни один

4. Для понимания контекста см. в частности: *Weston C. C. English Constitutional Theory and the House of Lords, 1556-1832*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965. Уэстон опубликовал соответствующие разделы «Ответа Его Величества на XIX предложений обеих палат парламента» (*His Majesties Answer to the XIX Propositions of Both Houses of Parliament*. London: Robert Baker, 1642) на Р. 261-265: «Благо демократии в свободе, а также смелости и усердии, которые рождает свобода» (Р. 263).

английский монарх. Это была не просто незначительная дань вежливости со стороны правителя (во всех остальных случаях не слишком отличавшегося тактичностью), поскольку есть основания рассматривать свободу в этом богатом и широком английском смысле как достойный аналог свободы (*freedom*), которую демократы древних Афин рассматривали как основное преимущество своего демократического образа политической жизни⁵, и поскольку политической средой, где свобода демократии проявила себя в государственном устройстве Англии, была палата общин, которой Карл изо всех сил не давал собираться в течение десяти лет, чтобы избавиться себя от помех и обструкции⁶. Если что и вызвало у Карла сомнения касательно того, каков наилучший способ управления Англией, то только не то, кто именно имеет право ею управлять: кто был суверен, а кто должен был подчиняться его власти — кто являлся подданными. Сувереном был он, а все остальные родившиеся в королевстве люди — подданные, и пропасть, про-

5. *Hansen M. H.* The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford: Blackwell, 1999; *Hansen M. H.* The Tradition of Ancient Greek Democracy and Its Importance for Modern Democracy. Copenhagen: Royal Danish Academy of Science and Letters, 2005; *Raaflaub K.* The Discovery of Freedom in Ancient Greece. Chicago: University of Chicago Press, 2004; *Ober J.* The Original Meaning of 'Democracy': Capacity to Do Things, Not Majority Rule // *Constellations*. 2008. Vol. 15. No. 1. P. 3–9.

6. *Seel G. E., Smith D. L.* Crown and Parliaments, 1558–1689. Cambridge: Cambridge University, 2001; *Russell C.* The Causes of the English Civil War. Oxford: Clarendon Press, 1990; *Sharpe K.* The Personal Rule of Charles I. New Haven: Yale University Press, 1993; *Kishlansky M.* Charles I: A Case of Mistaken Identity // *Past and Present*. Vol. 189. No. 1. 2005. P. 41–80.

легающая между ними, была глубокой и непреодолимой. Когда семь лет спустя, в январе 1649 года, он стоял у подножия виселицы, он в последний раз сделал попытку настоять на своем:

Я так же, как и любой другой, искренне желаю их свободы; но должен вам сказать, что эта свобода в том, чтобы иметь управление, в законах, по которым их жизнь и имущество более всего принадлежат им. А не в том, чтобы они могли участвовать в управлении, Сэр. Это не имеет к ним никакого отношения. Подданный и суверен — это совершенно разные вещи⁷.

В английском языке (еще меньше в Америке) мы не привыкли к подобному тону. И тем не менее применительно к тем случаям, когда происходит локализация и осуществление суверенной власти, Карл, несомненно, был тогда прав; и возможно, он так же прав и сегодня, как он был прав в 1649 году, даже если к этому времени его собственный аргумент был с такой силой обращен против него. Если смотреть со стороны подданного, то суверенная власть действительно утверждает, требует и навязывает подчинение. Везде, где она больше не решается его утверждать или навязывать, исчезла сама эта суверенная власть (а не просто была включена в смесь расплывчато демаркированных юрисдикций, как это сейчас часто делается с разнообразными целями). Подчинение — по сути своей неприятное и унижительное положение, особенно в точке соприкосновения — там, где оно применяется. Особая, неослабевающая привлекательность демократии в сравнении с другими режимами

7. *Wedgwood C. V. The Trial of Charles I. Harmondsworth: Penguin, 1983. P. 217.*

не в том, что она лучше других обеспечивает интересы граждан. Насколько она что-то такое обеспечивает — это предмет сложных и неясных каузальных подсчетов, учитывающих эпохи и места и слабо связанных с формой режима, и демократия в таких подсчетах зачастую выглядела не лучшим образом и наверняка будет порой выглядеть так и в будущем.

Реальный секрет ее привлекательности в том, что она примирительно предлагает добровольно принять подчинение и поучаствовать, на номинально равных условиях, в выборе человека или людей, которые будут это подчинение приводить в жизнь. Трудно (а порой даже ошибочно) полностью поверить в это примиряющее обещание: не видеть, как на практике оно чаще всего оказывается миражом, видением воды в пустыне, где воды, к сожалению, нет. Но потребность в воде — реальная. Иллюзорно то место, где она якобы появляется — на расстоянии вытянутой руки. Любая теория суверенности, любой мыслимый способ представлять ее себе и интерпретировать, почему она там, где она есть, и почему есть настоящая потребность в той или иной ее форме, на практике приводит к сверхлегитимации. Она одобрит гораздо больше притязаний, чем обеспечит им критической силы. Она даст гораздо больше власти недостойным людям, чем мог бы санкционировать по-настоящему твердый взгляд на происходящее. Демократия — не исключение, и американская демократия — не исключение ничуть не меньше, чем демократия, понимаемая или проживаемая любой другой страной. В самом деле, великая претензия американской демократии на историческое отличие, ее удивительная долговечность и территориальная широта гарантированно указывают на то,

что она включала и включает в себя всевозможные случаи сверхлегитимации результатов суверенного выбора. Если вы хотите власти и достигаете ее в определенных масштабах, вы не можете надеяться на то, что вам удастся уклониться от ответственности. У каждого суверенного государства, грубо говоря, руки в крови. Чем старше и больше государство, тем больше крови у него на руках.

В чисто аналитических категориях, нет оснований приписывать демократической сверхлегитимации суверенной власти какое-то особенное лицемерие, скрытое в самой категории демократии. Было бы ошибкой клеветать на демократию, хотя такая же ошибка — защищать ее от любого позора, которым она вполне заслуженно покрыла себя на практике. Но все из нас сегодня, по крайней мере в странах, хотя бы отдаленно напоминающих США по своему политическому устройству, поддались своеобразному воображаемому обману демократии и оказались, гораздо сильнее, возможно, чем мы сами представляем, уязвимы для ее особой склонности к сверхлегитимации и искажению политических и моральных ориентиров.

У подданных есть потребности, которым отвечает суверенная власть: прежде всего, потребность в том, чтобы установить и поддерживать рамки, в которых они могут надеяться на безопасную жизнь. Но она может ответить на эту их потребность только тем, что на практике рано или поздно лишит их права самостоятельно судить, как должна отправляться сама эта суверенная власть. Демократия в любом обоснованном понимании (в любой интерпретации, которая не является откровенно лживой) восстанавливает, хотя бы на мгновение, это право и эту ответственность каждого гражданина, по крайней мере оставляя им вы-

бор, кто именно будет судить о том, как отправляется суверенная власть. Они лично наделяют полномочиями (пусть даже неохотно и неумышленно) того, кто судит, или тех, кто судит, и потому их собственное суждение эксплицитно фигурирует в условиях их подчинения. Насколько четко прочитывается, что оно там фигурирует, — насколько точно это выверяет и обеспечивает исполнение их суждения — это предмет для серьезных споров в любом институциональном воплощении демократии и фактически активно дискутируется практически при любых решениях в условиях демократии, исход которых особенно волнует граждан. Как на это ясно указывали и Платон, и Гоббс, примиряющее предложение демократии о включении на практике не обязательно оказывается утешительным или нормативно безукоризненным⁸.

В этом ракурсе примиряющее благо демократии может показаться не слишком привлекательной сделкой, довольно-таки пустым жестом в обмен на полное изъятие автономии. Особенно много мировоззрений, чьим заветам противоречит демократия, в Соединенных Штатах, от кантианского превознесения приверженности равному уважению достоинства часто совершенно недостойных членов человеческого вида⁹ до угрюмого сопротивления вмешательству государства в любую сферу, кроме защиты жизни, положения или личного имущества, которое все шире распространяется среди американских граждан и сегодня ярче всего проявляется в крыле Республиканской партии,

8. *Plato*. The Republic. Cambridge: Harvard University Press, 1930–1935. 559D–562; *Hobbes T.* Leviathan. 3 vols. Oxford: Clarendon Press, 2012.

9. *Dworkin R.* Sovereign Virtue.

связанном с «Движением чаепития». Чтобы понять, почему демократический договор был столь широко принят именно в Америке, а не в какой-то другой стране, и почему его принятие в этой среде стало столь многим казаться веским основанием для того, чтобы поверить, что это устройство как никакое другое подходит для всего остального человечества, необходимо рассмотреть три составляющих в их тесном переплетении: прежде всего, кардинальную потребность в том, чтобы ими управляли, которая возникает из практической и политической экономической организации мира людей; во-вторых, практически полное исчезновение любой другой конкурирующей или более ранней формулы мотивации принятия подчинения; и в-третьих, что немаловажно, степень, в которой согласие граждан на подчинение на практике оказывается неподлинным — временным, часто неискренним или поспешным и таким, что они всегда готовы забрать его обратно. Такова, по крайней мере психологически, сегодня гражданская принадлежность (citizenship), такой она, вполне вероятно, была в прошлом и обречена оставаться в будущем. Если есть гражданская принадлежность, то только такая. Эта третья составляющая сделки, возможно, интуитивно всегда была видна и признавалась, по крайней мере молчаливо, каждым, хотя она и открыто противоречит тому, что каждый из нас хотел бы услышать. Вы можете сказать, что это демократический аналог прерогативы или государственного резона: необъявленное намерение нарушить нашу часть персонального видения общественного договора, когда мы сочтем необходимым. В этом смысле этот молчаливый договор, с его, естественно, молчаливыми оговорками и в самом деле, согласно известному выражению,

приписываемому покойному Роберту Нозикку, «не стоит бумаги, на которой он написан».

В основе третьего элемента лежат потенциальные большие личные неудобства, которые рано или поздно могут возникнуть в связи с соблюдением договора в непредвиденных обстоятельствах. Это соображение, доступное воображению практически любого. Но основания двух первых составляющих представить себе гораздо сложнее. В разгар военной анархии, в центре Магадишо или на обширных просторах превратившихся в ад восточных районов Демократической Республики Конго потребность в управлении вполне очевидна, но перспектива его получить в какой-либо форме, в которую можно было бы здраво поверить, маловероятна. Широкое распространение демократии как названия режима сегодня должно пониматься применительно к тем средам, в которых относительное эффективное управление уже существует, а не к тем, где зияет его отсутствие, или исходя из того, что демократия как политическая идея, или любое институциональное воплощение этой идеи, должна сама по себе обладать каузальной способностью порождать везде эффективное управление¹⁰.

Идея доказательства авторитета любого конкретного претендента на государственную власть через подчеркивание настоятельной потребности в *какой-нибудь* форме эффективного управления, величайшая идея Томаса Гоббса, хиреет в политической практике именно там, где в нем более всего нуждаются: где эффективность государства ограничена и где государство сталкивается хотя бы с одним не-

10. *Tilly Ch. Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007* (Ср. с: *Dunn. J. Democracy // European Journal of Sociology. 2008. Vol. 49. No 3. P. 487-491*).

посредственным соперником, активно апеллирующим к некоторым из тех, кем оно должно эффективнее управлять¹¹. Как только находящееся у власти правительство сталкивается с серьезной угрозой восстания, логика Гоббса перестает хоть как-то различать того, кто бросает вызов, и того, кому его бросают, и по мере нарастания угрозы эта неразличимость тоже растет¹². Какова бы ни была ценность рассмотрения демократии в качестве более дешевого функционального суррогата гражданской войны, она не может дать основания для того, чтобы изменить сторону во время такой войны или же ослабить усилия, направленные на добывание победы для стороны, которую вы считаете своей.

Подобно тому, как демократия может обосновать территориальные границы любого из конкретных государств только в силу счастливого стечения обстоятельств, она может служить только для того, чтобы идентифицировать легитимных правителей демоса, народа, который уже считает себя народом, определенной группой людей, образующих очевидную общность.

Демократия нуждается в демосе. Она нуждается в нем концептуально, чтобы быть логически непротиворечивой идеей. Она нуждается в нем семантически, если хочет быть непротиворечивым описанием возможного исторического сегмента человеческого мира. Еще больше она нуждается в нем практически, если хочет родиться и длительное время сохраняться в мире.

11. *Dunn J. The Politics of Imponderable and Potentially Lethal Judgment for Mortals: Hobbes's Legacy to the Understanding of Modern Politics // Hobbes T. Leviathan. New Haven: Yale University Press, 2010. P. 447–450.*

12. *Ibid. P. 448–450.*

Как мог появиться демос? Есть ясный, но, возможно, не слишком приятный ответ. Он может существовать только там, где могут возникнуть и сохраняться во времени и пространстве общие чувства, восприятия и убеждения и тем самым может создаться хотя бы слабая возможность общего интереса, может быть, даже «Общей воли»¹³. Но это всего лишь грамматика демократии. Что она может сказать нам о ее содержании?

Интерпретация, которую она оставляет открытой, совершенно бинарна. Согласно одной интерпретации, онтологически не может быть чувств или восприятий, общих для всех людей, но только индивидуальные чувства, восприятия или убеждения. Они могут становиться общими, только если лишены экзистенциального содержания. Могут быть общими только по форме. С этой точки зрения демократия — всего лишь «манера выражаться», хотя она может как тень присутствовать в истории, когда люди в данной среде привычно говорят или пишут о ней, как если бы она наличествовала. Она может существовать только как словесная формула. В этом обличии ее присутствие или отсутствие не может быть значимым в причинно-следственном отношении. Она мо-

13. *Rousseau J.-J. Of the Social Contract // Rousseau J.-J. Social Contract and Other Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково Поле, 1998. Это никогда не может быть буквальным описанием того, как обстоит дело,—самое большее, политическим предложением, как оно может достоверно рассматриваться или ощущаться, а также того, как его можно устроить. См.: Bertam Ch. Rousseau's Legacy in Two Conceptions of the General Will: Democratic and Transcendent // Review of Politics. 2012. Vol. 74. No. 3. P. 403-419.*

жет только отражать — и семантически транслировать — каузальности, возникающие где-то еще. Драма политики может быть только игрой теней, а не местом зарождения причин и следствий.

И наоборот, всегда существуют и могут существовать чувства, восприятия и убеждения (убеждения с экзистенциальным содержанием), общие для групп людей, но их охват и валентность сильно различаются в зависимости от времени и места. Такие группы могут и будут иметь общие блага и интересы, различающиеся по тому, насколько они важны для их жизни, просто потому, что у них есть общие чувства, восприятия и убеждения. С этой точки зрения драма политики связана прежде всего с формированием, сохранением и распадом таких групп, у которых есть эти общие вещи, и это очень важно для жизни человека в любом масштабе, за исключением сугубо домашнего. Условия для формирования, сохранения и распада таких групп образуют фундаментальный материал политики и дают первичные категории для сугубо политического понимания.

Если предположить, что демос исторически присутствует, правление, которое ему требуется, должным образом наличествует, а территориальный периметр и гражданская принадлежность определены во всяком случае на какое-то время либо с общего согласия, либо через политические и военные действия, нетрудно увидеть, как демократия сама по себе может примирить население с мыслью, что оно нуждается в том, чтобы им и дальше продолжали эффективно управлять¹⁴. В конце концов, почему любой народ должен мириться не столько с тем, что им вообще должны

14. *Dunn J. The Cunning of Unreason.*

управлять, сколько с тем, что им должны управлять именно те, кто уже это делает в данный момент? Согласно Максу Веберу, народ может принять подчинение на по крайней мере трех различных основаниях¹⁵. Он может принять его, потому что считает, что у него есть веское основание его принять, в рамках практик, предположительно целиком состоящих из веских оснований. Это оптимистическое видение процесса, которое уже какое-то время пробуксовывает в обществах, в которых мы живем. Или же он может принять подчинение из благоговейного страха — условие, которое сегодня встречается реже, не в последнюю очередь в США, и которое, возможно, никогда не было общим для подавляющего большинства или никогда нигде не существовало на протяжении длительного времени. Чаще бывает, что народ принимает подчинение в силу привычки, потому что длительное время его принимал и едва ли может себе представить нечто иное или уже забыл, как это бывает. Все три основания для принятия подчинения (рациональность, харизма, традиция) имеют в себе очевидные элементы ненадежности. По всей видимости, традиция до сих пор работает в силу того, что в глобализованном капиталистическом мире было мало гражданских войн, потому что гражданская война крайне разрушительно действует на привычку (чем она тяжелее и длительнее, тем хуже для привычки). Харизма, хотя она распространяется за счет современных технологий удаленного управления образами и медийного контроля, — истощимый актив, хотя и до сих пор с произвольной ча-

15. Weber M. *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*. New York: Bedminster, 1968. Vol. 1. Ch. 3. С. 212–301, 215–216.

стотой дает о себе знать в политической истории большинства стран.

Где демократия установила и укрепила свое легитимирующее влияние, так это на исторической территории относительно устойчивых правительств в преимущественно мирных государствах, существующих внутри динамически глобализированной капиталистической экономики. Один из естественных способов понять, почему ей удалось это сделать именно там, — посмотреть на то, как она пришла на смену двух устаревших и внутренне противоречивых, хотя и вполне конкретных и решительных, претендентов на власть — монархии или аристократии или любого рода олигархии — в качестве третьего претендента, который не внушал особого доверия, был не способен самостоятельно править в любых масштабах, а следовательно, с самого начала нуждался в мистифицирующем заместителе, который управлял бы за него и выводил вопросы о праве или способности править за рамки возможности мыслительного контроля. Там, где монархи и аристократы больше не могут, как выразился Ленин, «жить по-старому», кому еще попробовать это сделать, как не всем остальным, народу в его полной суверенной неопределимости?¹⁶ Вот что вы увидите, если будете рассматривать подъем демократии как триумф одной формы правления над двумя ее предшественниками, каждый из которых имел свою длительную историю, и такая последовательность событий,

16. *Lenin V. "Left-Wing" Communism: An Infantile Disorder // Lenin V. Selected Works, 2 vols. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1947; Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 41. М.: Политиздат, 1981.*

безусловно, имеет место в исторической хронике. Наивно считать эту историческую последовательность самоочевидной или простодушно интерпретировать ее результат в ее собственных категориях. Если мы зададимся вопросом, почему именно демос, который на практике не может править в Соединенных Штатах или где-либо еще, менее подходящий кандидат, чем его предшественники, которых он так решительно вытеснил, на него нельзя будет просто ответить, что демос гораздо сложнее разглядеть или не упустить из виду, когда вам все-таки удалось это сделать.

Формы правления — это не отдельно стоящие институциональные структуры, которые возникают и пропадают вместе с идентичностью и социально-экономическими свойствами тех, кто их населяет. Это всегда еще и сложные воображаемые предложения, которые, конечно же, погружены в комплексное организационное устройство и с разной степенью активности инсценированы людьми, но зависят в своей устойчивости или уязвимости от воображаемой убедительности того, что они предлагают. Самым важным с точки зрения последствий и самым непонятным свойством Соединенных Штатов на протяжении 170 лет, прошедших с публикации второго тома «Демократии в Америке» Токвиля (1840)¹⁷, остается сила специфической интерпретации основы, на которой демос, их собственный народ, осуществляет свое почти что непрерываемое правление. До сих пор в Соединенных Штатах эта основа очень долго была неотличима от традиции. В отдельные исто-

17. *Tocqueville A. Democracy in America. Chicago: University of Chicago Press, 2000; Токвиль А., де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.*

рические моменты она, конечно, могла блеснуть харизмой на короткое время; и она поддерживает густую сеть юридической рациональности, которая образует общественную жизнь страны. В этом очень американском смысле демократия — это все для всех и почти всегда. Но в остальном мире влияние демократии, если оно имело место, наоборот, почти везде было гораздо более кратковременным, ненадежным и гетерогенным. Ему приходилось пробиваться через гораздо более толстую броню и пытаться установить порядок в более мятежных пространствах. Оно с самого начала сталкивалось с гораздо более выдающимися соперниками, и порой эти соперники оказывались гораздо ближе к тому, чтобы окончательно ее уничтожить. В этих условиях ей никогда не удавалось подолгу тешить себя иллюзией неуязвимости.

И тем не менее именно демократия, не монархия или аристократия, ее соперники еще со времен Древней Греции, каким-то образом завоевывала место обязательной основы для интерпретации легитимного правления в большинстве стран мира. Как это могло случиться? Можно точно сказать, что дело не в давно утраченном блеске Греции, якобы сохранившемся, как муха в янтаре, в языке. И причина не в том, что было бы невежливо или трансгрессивно так говорить. В Древней Греции демократия не была стабильным, связанным с большинством результатом борьбы между разными формами управления греческими общинами, даже там, где эти общины были предоставлены самим себе. Такого не могло быть, потому что никакого стабильного результата не было и никто бы не спутал относительную пригодность демократии с четким выводом из последовательно рациональных рассуждений на древнегреческом языке в клас-

сический период¹⁸. Если демократия, в ее неоднозначном современном смысле, за последнее время проявила себя как тот сильнейший, что выживает в борьбе между формами правления по всему миру (вердикт, который, как любой из дарвиновских вердиктов, всегда может быть пересмотрен), этот более чем временный результат не может быть связан с эпистемическим успехом или интерпретативным богатством, таящимся в этой простой греческой триаде—монархия, аристократия, демократия, или в лексиконе, который его выражает.

Это выживание должно быть связано с чем-то совершенно иным и гораздо менее утешительным—воображаемым потенциалом для отождествления, который оставляет открытым третий член этой триады.

Поскольку этот потенциал полностью оставлен открытым, в принципе едва ли возможно какое-то избирательное сродство между ним и законом или разумом: в случае закона, потому что он присутствует повсюду, по крайней мере в современных обществах, и потому что само это присутствие в любой момент времени должно быть так четко противопоставлено непосредственному волеию любого отдельного человека, а еще больше волеию всех людей, каким-то образом втиснутых в номинальное единство; в случае разума, потому что он стремится к структурированности, определенности или даже уверенности там, где это только возможно, тогда как демос, который, как считается, должен следовать велению собственной воли, освещенной его собственным разумом, отвергает любую структуру или определенность, выходящие за пределы области действия этой воли и света это-

18. *Dunn J. Setting the People Free: The Story of Democracy.*

го разума, и не способен иметь дело с уверенностью по какому бы то ни было важному вопросу. При демократии демос, по сути дела, легитимирует закон (или делает его недействительным), и он следит и судит о притязаниях разума на то, чтобы интерпретировать, что есть закон и чего он требует. Демос делает это главным образом через корпус юридических специалистов, которые могут не испытывать особого когнитивного уважения или воображаемого сочувствия к подавляющему большинству своих сограждан, за исключением тех случаев, когда те выполняют свою роль в ритуалах, давно уже выхолощенных обычаем, как это часто бывает с судом присяжных. В основном авторитет демоса, если таковой имеется, не поспевает за густой сетью ограничений и руководящих принципов, через которую закон обрушивается на индивидуальных членов общества, и он редко или почти никогда не дает о себе знать напрямую.

Мы выбрали демократию как единственное основание, на котором мы принимаем подчинение, настолько, насколько каждый из нас его действительно принимает, не потому, что мы ценим законность или ожидаем ее (не потому, что желаем верховенства закона или с уверенностью его ожидаем). Демократия — это не верховенство закона. Она его не гарантирует, и до сих пор неясно, не будет ли она рано или поздно в той или иной степени его исключать. Еще меньше верховенство закона является демократией. Его прелести — не прелести демократии. Его горести — не ее горести. Его опасности — не опасности демократии. Они оба, самое большее, являются специфическими частичными благами, имеющими все потенциальные условия для конфликта. В итоге население Европы или Северной Америки сегодня, вероятно, ценит закон-

ность гораздо выше, чем демократию, потому что ее выгоды там, где они есть, одновременно и значимее, и гораздо надежнее. Почти каждый человек рано или поздно сможет почувствовать преимущество сохранения прав собственности, сколь бы скромными они ни были, в рамках существующего закона. Там, где законность все-таки дает преимущества, это непосредственные и по-хорошему личные преимущества. Их получают все, кому они положены. А в чем состоят чистые преимущества демократии — до сих пор вопрос весьма спорный. Он требует анализа запутанных причинно-следственных отношений на существенном удалении от жизни и переживаний любого конкретного индивида. Как цветисто заметил Гоббс, личный опыт демократии рано или поздно должен принести острое разочарование почти каждому человеку¹⁹.

Однако правда состоит в том — и это очень важно для понимания подъема демократии, — что во многих местах по всему миру и в самих Соединенных Штатах демократию стали принимать и понимать как содержание и основу существующего режима, в котором, в значительной степени, действует верховенство закона. Он правит в этих местах не в силу присущей ему власти (у него ее нет). Он правит в силу молчаливого или скупого согласия тех, кто в действительности правит. Как минимум большинство сегодняшних защитников или активных сторонников демократии полагает, что на практике она вполне совместима с верховенством закона. Немалое их число также допускает, вопреки логике или концептуальной ясности, что

19. *Hobbes T. De Cive: the English Version.* Oxford: Clarendon Press, 2012; *Гоббс Т. О гражданине // Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. Т. 1.* М.: Мысль, 1989. С. 270–506.

существует избирательное сродство между демократией и верховенством закона, точно так же, как оно допускает, что есть избирательное сродство между демократией и причинной динамикой и нормативными предпосылками капиталистической экономики. Эти допущения, все вместе и в большом количестве, глубоко заложены в политической традиции и идеологических взглядах Соединенных Штатов. Но если взглянуть на них здраво, абстрактно и на их собственных условиях, в них окажется очень мало смысла.

На большей части обитаемой суши эти допущения очень далеки от того, чтобы уловить подсказки или нести авторитет еще действующих остаточных традиций, и они никак не могут объяснить, почему демократия как идея (или даже как лозунг) обладает силой наделять кого-то правом управлять, тем более порождать способность к эффективному управлению там, где она еще широко не представлена. С самых разных точек зрения то, что Америка поддерживает демократию, ничуть не проясняет, каким образом весь остальной мир видит или чувствует смысл этой крайне политической концепции. Начать с того, что здесь систематически, а порой и вполне целенаправленно, смешиваются фундаментальный процесс власти и борьба, которую ведут между собой политические идеи за привлечение сторонников. Процесс власти — это когда очень богатое и могущественное на данный момент общество берется переделывать мир по собственному образцу, чем, к примеру, на протяжении длительного времени занимались китайские императоры на своей обширной исторической сцене. Это был реальный процесс, и ему еще предстоит достичь решающей цели, но борьба идей за своих сторонников всегда была в некоторой мере иллюзией,

гегельянской игрой теней, которые отбрасывают мимолетные образы более незаметной борьбы между самыми разными искренне заблуждающимися индивидами и группами. Именно из-за этой борьбы демократия как концепция или лозунг подошла к краю исторической пропасти. Вопрос, который нужно задать, в том, что именно она предложила тем, кто решил ее выбрать, и почему, там и тогда, где и когда они это сделали, они увидели и почувствовали, что она сдержала это обещание.

Если вы будете рассматривать историческую картину подъема демократии в этих категориях, сразу станет ясно, что в том, что она рисует, накладываются друг на друга самые разные процессы, у каждого из которых своя собственная причинность. Вы можете, если захотите, считать их одним и тем же процессом, который определяется и отчасти упорядочивается пространственным распространением и временными перипетиями, которые претерпевает это уникальное слово, а также ростом и расширением опыта людей, связанного с этим словом, по мере того, как оно все больше удалялось от своих истоков в Древней Греции. Эта история напоминает исторический парад с полагающимися ему ужасами и радостями. Такой взгляд на нее не только выходит за рамки минимальной компетенции любого индивида, он также оказывается совершенно не способен понять то, что в ней особенно важно. Дело в ответе на два ключевых вопроса. Во-первых, в чем политическое значение этого пространственного распространения и временных перипетий? А во-вторых, *почему* они произошли там и тогда, где и когда произошли? Иначе говоря, чем *объясняется* их появление? Если вы будете накладывать две эти истории друг на друга, вы никогда не сможете их четко разглядеть. Если

не можете признать их каузального пересечения, вы обрекаете себя на ошибочное суждение о том, чем они объясняются, и, скорее всего, ошибочное понимание их политических последствий. Признать это — значит указать на реальную методологическую дилемму, но вовсе необязательно зайти в эпистемический тупик. Политическое понимание, если оно вообще возможно, если политика в принципе бывает интеллигибельной, должно сохраняться и ограничивать себя значительно более скромным эпистемическим регистром.

Рамка, в которой мы должны понимать произошедшее в ходе сумбурного глобального подъема демократии, образована непрерывным переплетением двух разных измерений, каждое из которых абстрагировано от головокружительного парада истории и от ее травмы. В обоих есть яркие идеалистические элементы (как это неизбежно бывает с историей, если долго и пристально в нее всматриваться). Оба измерения постоянно проходят через динамику работающего человеческого разума, и необходимо признать их зависимость от этого прохождения, чтобы они стали понятными. Ни в одном из них нет ничего эфирного, бесплотного. Среда, в которой происходил подъем демократии, в первую очередь представлена глобальной историей политического опыта людей, пространства, которое ни один из нас не может созерцать постоянно или надеяться понять во всем его объеме, сложности и непрозрачности, но среди накопленных остатков которого все мы имеем счастье или несчастье жить. Сегодня это сцена, на которой разворачивается жизнь любого человека. Не осталось ничего, что выходило бы за ее рамки или границы: нет гарантированного исторического или географического убежища, не осталось политического или

культурного частного пространства. Значительная доля нестабильности и непрозрачности демократии как политической категории и как политического феномена сегодня связана именно с тем, что она находится в самом центре этого неумолимого уничтожения изолированного пространства. Многие люди по всему миру вынуждены с сожалением взирать на присутствие демократии или на грядущий ее приход; и мало кто может быть совершенно уверен в том, что она предложит ему личные гарантии безопасности, процветания или экзистенциальной уверенности. (Подумаем о том, как выдлось американское вторжение в Ирак из столичного Багдада.) Но ни один режим в сегодняшнем мире везде, где он признан, в любом месте, которое вышло из состояния природной дикости, не может не соотносить себя с этим термином, с какой бы нескрываеваемой антипатией он к нему ни относился.

Легко счесть распространение этого слова бессмысленным побочным эффектом: оно как огромная флотилия крошечных пробок, беспомощно плавающая среди бурь человеческого опыта. Но с политической точки зрения это не слишком прозорливое суждение. И слово, и категория тесно вплетены в ткань этой истории. В них заключено гораздо больше чувств и суждений, и они все активнее определяют цели по мере приближения к сегодняшнему дню. Что бы ни случилось в будущем, даже если демократия как политическая категория или политическая ценность в грядущие столетия вдруг окажется изгнанной из всех обществ, политическое пространство, в котором может возникнуть этот результат, и политические агенты, которые обеспечат его возникновение, и сами окажутся результатом распространения демократии как категории. Вот почему мы все сегодня стремимся ра-

зобратся в происхождении этого термина в его нынешнем смысле и в динамике и значении опыта, через который он нами с такой силой овладел.

Разговор о втором измерении можно вести в более спокойном тоне, и оно, возможно, гораздо лучше поддается анализу. Если первое волей-неволей фокусируется на политическом, социальном и экономическом опыте гигантского количества людей, второе касается области, в которой политическая наука чувствует себя как дома: самой политической борьбы и, в частности, злоключений политических концепций в ходе этой борьбы. Здесь важна не сфера действия политической борьбы — формы, которые она принимает, состав участников, которых привлекает, или даже ее исходы или причины. Важно то, что политическая борьба раскрывает в самих политических концепциях. Применительно к этому измерению мы должны понять, в какой степени политическая борьба образует ряд эвристических правил для политических концепций и функционирует как такой ряд, настойчиво проверяя ясность, реалистичность, нормативную прозорливость этих концепций и их потенциал в определении задач и консолидации целей для возможных союзников и подрыве власти и обезвреживании противников, реальных или потенциальных. В этой области демократия совсем недавно тоже сумела завоевать головокружительное превосходство, без сомнения, в жесткой борьбе, но это такая сфера, в которой не приходится надеяться на то, что этой концепции удастся избежать соревнования с другими.

Именно в этом пространстве демократия особенно ярко показала, что ни одна другая категория, до сих пор встречавшаяся в человеческой речи, не может тягаться с ее умением вербовать союзников и сокрушать противников.

Если мы будем рассматривать эти два измерения — политический опыт или структурирование политического конфликта — как две грани единой и неделимой каузальной истории, сразу же станет ясно, что относительная податливость второй категории для анализа очень важна. То, что демократия добилась своего сегодняшнего превосходства в ходе и посредством глобальной истории политического опыта человечества, — это трюизм, но он выражает совершенно абстрактную истину, а те бесконечные причинно-следственные отношения, которые в нем разворачиваются, не могут быть полностью известны ни одному человеку. Большая часть этой последовательности сегодня безвозвратно утрачена, а то, что еще можно восстановить — даже вся эпистемическая область современной политической науки, прошлой, настоящей и будущей, — мало что может сказать нам о целом.

Если эвристикой, определившей сегодняшнее превосходство демократии в части реализма, ясности и способности определять задачи и консолидировать цели для потенциальных союзников и ослаблять и деморализовывать предполагаемых противников, была сама политическая борьба, было бы правильно считать сравнительным глобальным преимуществом демократии то широкое пространство, в котором она вызывает идентификацию, и сравнительно узкое поле, которое она вынуждена заведомо исключить как незаконное, скверное или попросту злокозненное. Именно к этому апеллировал аббат Сийес в своем знаменитом памфлете «Что такое третье сословие?», с которого началась революция во Франции²⁰. Также это было притязание

20. Sieyès E. *Political Writings*. Indianapolis: Hackett, 2003; Сийес Э. Ж. Что такое третье сословие? // Аббат Сийес:

на власть, с которым он выступил от лица этого сообщества. В отличие от приверженцев монархической власти и открытых сторонников аристократии, политический народ, как его понимал Сийес, обязан исключать только тех, кто сам решил себя из него исключить, тех, кто с полным осознанием претендовал на то, чтобы стоять над законом, на который этот народ ссылался и который признавал, и освободить себя от пут этого закона, без всякого стеснения определяя для себя его содержание²¹.

В случае временного вакуума власти едва ли может существовать более широкая апелляция в данном месте или для данного народа (хотя политический баланс, конечно, будет меняться в зависимости от того, сколько человек затребовало себе эту привилегию). Широта апелляции не является показателем ее убедительности, способности внушать доверие. По этому показателю демократия, очевидно, ничуть не более харизматична, чем любая другая политическая категория. Но с точки зрения этого показателя вообще непонятно, как какая-либо категория может быть харизматичной сама по себе или как те категории, которым лучше всего удавалось внушать доверие в одном контексте, могли надеяться на то, чтобы сохранить это доверие, когда контекст менялся, так как все политические контексты рано или поздно меняются. Если идентификационная привлекательность демократии носит личный характер и намеренно

от Бурбонов к Бонапарту. СПб.: Алетейя, 2003. См. контекст в: *Dunn J. Setting the People Free.*

21. *Sieyès E. Political Writings («Essay on Privileges»)*. P. 69–90; Сийес Э. Ж. Эссе о привилегиях // Свобода. Равенство. Братство. Великая французская революция: документы, письма, речи, воспоминания, песни, стихи. Л.: Детская литература, 1989. С. 27–38.

обращена ко всем людям, которым адресуется, без разбору, эта широта и неразборчивость могли быть, и часто были, крайне отвратительны для тех, кто лучше всего способен себя защищать. Но бесконечно захватывая все новые территории, эта длинная череда отдельных поражений все больше уравнивается своей грубой политической привлекательностью. Трудно представить, что какой-то соперник может шире или более неразборчиво демонстрировать свою привлекательность или компенсировать обращение к более узкому или избранному слою чем-нибудь, кроме систематически доказанной эффективности, неизбежно слабого основания для притязаний на власть в любой среде.

Человеческий мир принял демократию в том запутанном, частичном и беспорядочном виде, в котором он принимает ее сегодня, не потому, что он поверил в демократию как твердое и надежное основание для власти. Он поверил в нее, потому что стал все меньше доверять любым другим человеческим основаниям власти, а со временем и любым другим претензиям людей основывать власть на чем-то сверхчеловеческом. Мы должны рассматривать глобальный подъем демократии не как удивительный триумф доверчивости или торжественный марш истинных убеждений, а просто как прерывистый ряд вынужденных и болезненных капитуляций огромного множества самых разных убеждений. Это достаточно знакомая картина, справедливо ассоциирующаяся с некоторыми элементами европейского Просвещения²². Но лег-

22. Просвещение было одновременно и политической идеей, и интеллектуальным и культурным процессом. Несудивительно, что оказалось так трудно убедительным образом локализовать его в пространстве и во времени. Сре-

ко заметить, что такая картина — это образ Просвещения не как потенциального ментора человечества, а как беспокойного пророка, предрекающего грядущий непривлекательный пейзаж. Никто из тех, кто видит подъем демократии в этой лишенной иллюзий перспективе, не может разумно предположить, что демократия, что бы она ни сделала, что бы ни пережила и во что бы ее ни заставили превратиться грядущие столетия, представляет собой синоним хорошего правления.

Возможно, нам повезло, что мы имеем хорошее правление при демократии, но хорошее правление — не то удобство, которое гарантирует демокра-

ди недавних влиятельных попыток разного масштаба трилогия Джонатана Израэля: *Israel J. Radical Enlightenment: Philosophy and the making of Modernity, 1650–1750*. Oxford: Oxford University Press, 2001; *Israel J. Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man*. Oxford: Oxford University Press, 2006; *Israel J. Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and the Human Rights, 1750–1790*. Oxford: Oxford University Press, 2011, а также: *Israel J. A Revolution of the Mind: A Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy*, Oxford: Oxford University Press, 2009; еще более обширное исследование Покока: *Pocock J. G. A. Barbarism and Religion*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999–2011. Из предшественников: *Gibbon E. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. London: Penguin, 2005; и сопоставление опыта Шотландии с опытом Неаполя у Робертсона: *Robertson J. The Case for the Enlightenment: Scotland and Naples, 1680–1760*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Более амбициозные предшествующие толкования у Кассирера: *Cassirer E. The Philosophy of the Enlightenment*. Boston: Beacon Press, 1955; и у Гэя: *Gay P. The Enlightenment: an Interpretation*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1967–1970, до сих пор сохраняют некоторую актуальность. Никто из них не пытался упокоить с миром кантовский вопрос «Что такое Просвещение?».

тия, в теории или на практике. При ней обязанность определять, насколько хорошо правление, лежит не на тех, кто правит, как отдельный деятель или как комплекс различных скоординированных между собой учреждений. Эта обязанность ложится на граждан в широком смысле слова, и обязанность исправлять заблуждения тоже в конечном счете ложится на этих самых граждан как целое. Со стороны иностранных гостей невежливо говорить подобные вещи, но это также их долг — говорить правду, как они ее видят. Сегодня, на взгляд иностранца — из Китая, Ирана, Бирмы, Швейцарии или даже Англии, — едва ли можно считать, что американские граждане преуспели в том, чтобы обеспечить себя хорошим правлением, несмотря на свою проверенную временем и гибкую демократическую формулу. Этот затянувшийся тупик тем не менее не вина демократии. Но демократия как никакая другая политическая формула требует от нас попытаться понять, почему возникают такие исходы и почему они порой сохраняются с таким замечательным постоянством.

В отличие от большинства других политических ярлыков, демократия не дает вам возможности возложить вину за этот исход на временное и случайное вознесение подлецов или дураков. Мы, Народ, настолько же подлы и глупы, насколько великодушны и мудры. Когда мы делаем неправильный выбор, нам некого винить, кроме самих себя. Когда мы ссоримся, а мы никогда не прекращаем ссориться, из-за того, кто мудр, а кто глуп, кто добродетелен, а кто вероломен, общая основа для идентификации и вся легитимация, которую она дает, исчезает и нам остаются лишь взаимные антипатии и презрение.

1

2

3

ГЛАВА 2

Подъем демократии

ТРУДНО преувеличить уникальность и загадочность нынешнего глобального подъема демократии, который, сколь бы спорным он ни был, не имеет себе равных среди других политических категорий, определяющих политический опыт. Сам по себе этот подъем указывает на два важных пункта. Первый, одновременно и аналитический, и бытовой, состоит в том, что победа, которую знаменует этот подъем, целиком и полностью, по сути и по логике, была сугубо политическим процессом: политическая победа, добытая политическими средствами и через овладение политической властью и использование ее во всех ее многообразных видах и конфигурациях. Как с любым крупномасштабным и длительным политическим процессом, победа во многом определялась эвристикой, поисками и мобилизацией типов и источников силы, которые до сих пор оставались скрытыми и не находили актуализации. Историки могут отследить эти процессы ретроспективно, имея несравнимое преимущество выносить суждения задним числом, но никто не может показать, как эти силы вышли наружу. Трудно объяснить даже то, почему это должно было быть так, но бесполезно отрицать поразительный урок опыта, который просто есть.

Второй пункт — предостерегающий и тоже преимущественно исторический. Он касается того,

насколько опасно в политическом смысле рассматривать нынешнее глобальное распространение демократии как нечто более возвышенное и долговременное, чем контингентный и всегда по большей части непрозрачный для себя самого исход. Точнее, крайне неблагоразумно с политической точки зрения видеть или чувствовать в нем успокоительную мощь (производимую в воображении, но от того ничуть не менее действенную на практике) чего-то более высокого, чистого и надежного, благотворно снисходящую на политику сверху, чтобы сгладить и смягчить ее непреодолимую жестокость и абсурд. Этот страх может показаться пустым, поскольку никто, в особенности в Америке, не видит или, вероятно, не может видеть таким реальный политический процесс. И, конечно, исторические примеры того, что кто-то в Америке в подобных категориях когда-либо рассматривал бы американскую политику, встречаются крайне редко. Трезвый реализм, с которым большинство американцев смотрят на свою внутреннюю политику, тем не менее с большим трудом распространяется за границы страны. За ее пределами он редко заставляет американцев рассматривать глобальный подъем демократии как сугубо политический исход процесса, который по своей духовной значимости не более высок или низок, чем любой другой политический процесс, от распределения мест в американском Верховном суде или контрактов на поставки вооружений Саудовской Аравии, обмена услугами по принципу «ты — мне, я — тебе» в конгрессе или урегулирования мафиозных франшиз до создания Красного Креста, «Международной амнистии», «Общества Иисуса» или КГБ. (Дело не в том, что все политические проекты одинаково ценны или бесполезны, а в том, что каждый по-

литический процесс — все равно политический, драматические вариации в их духовной привлекательности или материальной угрозе не в меньшей степени происходят от среды, в которой они существуют, чем от того, как они определяют свои коллективные цели или отделяют себя от них.)

Американцам особенно легко ошибаться в истолковании или не понимать политический характер исторического наступления демократии на протяжении последних трех четвертей столетия по двум совершенно разным причинам, ни одна из которых никак не умаляет Соединенные Штаты в качестве исторической цивилизации или политического актора. Во-первых, американцам гораздо труднее разглядеть откровенно принудительный характер применения их власти, чем тем, к кому она применяется, и, соответственно, им труднее отличить свои случайные победы от заслуженных. Во-вторых, несмотря на достойные усилия их политологов на протяжении целого столетия, им стоит большого труда относиться к категории демократии без сентиментальности, и они делают это с еще большей легкостью и самоуверенностью, когда из мест, которые им хорошо знакомы и которые они могут видеть своими глазами, эта категория попадает в места гораздо более отдаленные, о которых они практически ничего не знают. Почему это происходит? Ответ может быть отчасти связан с тем, сколь много великодушия и надежды вложили в эту категорию многие из самых глубоких и страстных мыслителей Америки за последние два столетия. За исключением горстки необыкновенно чутких пуританских священников, никто в Северной Америке особенно не интересовался категорией демократии до середины XVIII века и вообще крайне редко ее упо-

минал¹. Но с началом Американской революции, образованием новой республики и в результате длительной, обычно аморфной и всегда тревожно незавершенной борьбы за то, чтобы исправить ее сумбурное рождение и найти приличную и достойную форму совместного сосуществования для всех представителей народа, демократия со временем стала не просто названием для режима новой республики², но средством, на которое поколения самых одаренных и ангажированных американских мыслителей, писателей и общественных активистов возлагали свои надежды по обустройству пространства для общей жизни каждого, кому довелось и кто наделен правом жить в нем. В американской внутренней политике эта мощная волна энергии и надежды была фактически парализована на протяжении этих двух столетий, и можно вполне ответственно утверждать, что парализована она и сейчас и, скорее всего, останется таковой в будущем. Глубокая фрустрация, вызванная внутренней политикой, и плохо понимаемая внешняя

-
1. Большинство из них, подобно Джону Коттону или Ричарду Матеру, которые упоминали демократию начиная с 1630-х годов, делали это в связи с вопросами церковного управления, и лишь немногие одобряли применение этого термина к структуре авторитета, даже в этом контексте. Я очень благодарен Терезе Беджан с отделения политологии Йельского университета за помощь в поисках подтверждения этого тезиса. Взгляд со стороны, берущий в скобки филологию, см. в: *Maloy J. S. The Colonial American Origins of Modern Democratic Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.*
 2. *Wilentz S. The Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln. New York: W. W. Norton, 2007. Wood G. S. The Radicalism of the American Revolution. New York: Vintage, 1993. Но ср.: Wood G. The Creation of the American Republic, 1776-1787. New York: W. W. Norton, 1969. P. 602-615.*

власть оказывают негативное воздействие на политическое суждение. Вместе они мешают американской аудитории получать устойчивое и четкое представление о нынешнем присутствии демократии во всем мире.

Один из способов это исправить — выйти из вообразяемого силового поля и взглянуть на мировое восхождение демократии, отделив ее от местных политических пристрастий или апроприаций. Поначалу эта стратегия будет нуждаться в защите, поскольку многие сочтут ее непонятной или бесполезной. Суть подхода, который мы здесь используем, состоит в том, чтобы проследить движение слова *демократия* по миру и в разных языках, когда оно выходит за пределы Европы или ее североамериканской диаспоры, и прочесть политические интерпретации, которые оно получило в ходе этих разнородных перипетий, постепенно начав играть все более важную роль на обширной территории. В этих условиях его рассмотрение может быть только импрессионистическим и эпизодическим, и ни в коем случае не следует принимать его результат за серьезную интеллектуальную историю, которую еще предстоит написать для каждой страны, каждого языка и каждого десятилетия тем, кто уже в достаточной мере владеет данным контекстом, чтобы понять, что в нем происходило.

Такое большое и еще едва начавшееся сотрудничество — неотложная задача как с политической, так и с интеллектуальной точки зрения. В сегодняшнем мире есть радикальные антипатии и глубокие конфликты интересов (как они были всегда, в той мере, в которой мы можем заглянуть вглубь истории), но эти несомненные источники опасности для всех и каждого из нас и тех, кто нам дорог, — ничто по сравнению с масштабами и остро-

той угрозы нашего массового взаимного невежества и непонимания. Мы не понимаем тот мир, в котором мы оказываемся друг с другом, и не понимаем его в значительной мере из-за той существенно ограниченной степени, в которой мы понимаем друг друга, или то, что по-настоящему заботит практически всех людей во всем мире и почему.

Если это суждение кажется слишком мудреным или глупо претенциозным, вспомните два американо-британских вторжения в Афганистан и Ирак и тот ущерб, который они продолжают наносить до сих пор. Но даже если кто-то всерьез воспринял насущную потребность понять эти глобальные столкновения, то что ему об этом скажут злоключения какого-то слова? Есть две причины выбрать именно эту стратегию понимания, одна — более очевидная, другая — менее. Первая и самая очевидная причина — политическая: необычайная политическая нагруженность данного термина. Но вторая и менее очевидная причина — главным образом когнитивная. Это гораздо большая эпистемическая определенность, находящаяся в центре отслеживаемых процессов.

История демократии как *слова* — это упражнение в политической филологии, в виде интеллектуальной практики, крайне недостаточно разработанном, даже несмотря на лингвистический поворот, который по прошествии определенного времени и при условии, что им будут заниматься с должным усердием, возможно, мог бы привлечь и, возможно, со временем привлечет огромный интеллектуальный капитал матрицы, формировавший разум западных людей на протяжении почти тысячелетия, и введет этот капитал обратно в политический оборот. Это ни в коей мере не узко-западный интеллектуальный проект. Он в одинаковой

мере может черпать ресурсы и из наследия цивилизации Южной Азии или любой части исламского мира, и из Японии, Кореи или даже Китая в Восточной Азии, и из наследия западных стран. Горстка ученых по всему миру, осознавших масштабы и перспективы этой задачи, — такие фигуры, как специалист по санскриту Шелдон Поллок³ или специалист по исламу Майкл Кук⁴, — пока еще чаще всего родом из западных стран или живут в них. Но у них всегда были не менее одаренные и увлеченные коллеги среди тех, кто родился и продолжает жить во всех великих центрах создания и сохранения культуры по всему миру, а со временем их станет еще больше. То, что люди могут сделать в политике, зависит прежде всего от институциональных структур, с которыми они имеют дело или которыми располагают, и от материальной среды, в которой они оказываются. Но то, что они попытаются сделать или даже что попытаются выбрать, в равной мере зависит от того, как работает их воображение, что они видят вокруг себя и как относятся к людям и к миру, которые находятся на различном расстоянии от них. Именно из-за важности, которую в этом пространстве приобрела демократия в качестве формулы легитимации, перед нами сегодня стоит неотложная задача

-
3. *Pollock Sh.* The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, culture, and Power in Premodern India. Berkley: University of California Press, 2006.
 4. *Cook M.A.* Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. См. также: *Crone P.* God's Rule: Government and Islam. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004; *Black A.* The History of the Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present. London: Routledge, 2001; *Watanabe H.* A History of Japanese Political Thought, 1600–1901. Tokyo: I-House Press, 2012.

понять, что же за последние два столетия происходило с самим этим словом и благодаря ему по мере его распространения по планете.

Ключ к распространению демократии в этом пространстве — горизонт идентификации, которым она становится для столь многих, и основа, которую она предлагает им для того, чтобы они могли дискредитировать и разоблачать своих ближайших врагов. Отсюда не следует, что это неизменно усиливало их способность к политическому суждению или улучшало политические перспективы. Несомненно, очень часто это манило их обещанием власти, контроля и эффективности, которое в конечном счете оказывалось обманом, и приводило их беззащитных на бойню, как некий мощный отголосок Крестового похода детей или реконструкция кровавой битвы при Пашендейле. Взгляните на невразумительные итоги «арабской весны» или, с более респектабельной исторической дистанции, на катастрофические последствия Второй мировой войны⁵. Но сколь бы уязвимым ни оказалось это обещание, способность приводить в движение огромные массы людей сама по себе является важным политическим фактором. И трудно переоценить мотивирующую силу сугубо политической услуги, которую это слово, кажется, предлагает миллионам испуганных или страдающих людей, или преувеличить последствия его воздействия.

Смотреть на политический опыт с точки зрения того, что несет какое-то слово, — значит, рассматривать политику в очень странном ракурсе, который едва ли оснащает кого-либо знаниями для понимания последствий. Большинство людей в мире сегодня воспринимают демократию прежде всего

5. *Judi T. Postwar.*

не как слово. Они видят в ней форму правления или набор институциональных практик. В Соединенных Штатах с большей уверенностью, нежели где-либо еще, на нее смотрят как на собственную форму правления и набор практик, которые ее сегодня определяют. Когда американцы задаются вопросом о наличии или отсутствии демократии где-то еще в мире, то они прежде всего имеют в виду наличие в местах разной удаленности более или менее удачной копии именно этой формы правления и практик, выражающих такие же, как у них, ценности, по крайней мере в их лучшем виде. Когда они идут дальше и задаются вопросом о том, как такая форма правления стала доминировать во многих частях мира или даже почему она первоначально возникла в их собственной стране, а также почему отдельные ее элементы появлялись ранее и в других местах, они обращают внимание на образование государств, технологии политического контроля, генезис ресурсов, изымавшихся у местного населения, и их мобилизацию правительствами или местной властью, основу, на которой группы людей можно стимулировать сотрудничать или подчиняться требованиям, спущенным сверху. Они могут читать историю, не раскрывая местных пристрастий внутри нее или полагая, что она несет легитимирующую мораль, поощряющую одних и осуждающую других, сегодня или завтра. Такие подходы позволяют спросить, как работает или не работает политика и почему она принимает те формы, которые принимает сейчас, не связывая того, кто задает вопрос, условием получить положительные или утешительные для кого бы то ни было ответы. Есть веские основания для существования политической науки как интеллектуального жанра и профессиональной практики.

Но как только вы спрашиваете, какая из этих форм правления или практик или предположительных целей и формообразующих принципов заслуживает лояльности, с таким трудом приобретенная профессиональная сдержанность мгновенно оказывается поколебленной и чувство настойчивого вопрошания, или даже здравого смысла, вскоре оказывается в серьезной опасности.

Рассмотрим вопрос о том, действительно ли греки изобрели демократию, на который многие нынешние граждане Греции страстно желали бы дать положительный ответ, в то время как серьезные и глубоко осведомленные специалисты по истории демократии, ничуть не менее страстно, считают необходимым дать отрицательный ответ⁶. Те, кто хотел бы дать утвердительный ответ, хотят присвоить исторический опыт, в одних отношениях блестящий, в других — столь же уродливый, как и исторический опыт любого другого сообщества, имевший место примерно там, где оно теперь живет, и осуществлявшийся с помощью языка, до странности похожего на тот, на котором оно сегодня говорит. Это довольно-таки невинная апроприация и ничуть не более наивная, чем любая другая апроприация какими-либо сообществами их разномастного прошлого. Критиков притязаний греков на изобретение демократии раздражает не невинный нарциссизм современных греков, но поддержка их притязаний остальной Европой и ее могущественной и богатой диаспорой за океаном. Отсюда встречное утверждение, что любой специфический элемент того, что с тех пор стало называться демократией, был предугадан или поименован и в дру-

6. Keane J. *The Life and Death of Democracy*. New York: W. W. Norton, 2009.

гих более или менее прилегающих местах, в особенности в континентальной Азии до того, как его стали применять древние греки. До сих пор не удавалось отследить какие-то особенно убедительные или яркие доказательства того, что происходило в том или ином милом сердцу месте (Месопотамия, Финикия), еще меньше указать на местную политическую значимость или продемонстрировать, что это имело определенные последствия для того, что древние греки произвели с категорией демократии или посредством нее. Но нет никаких причин оспаривать перенос культурных и интеллектуальных элементов из разнообразных негреческих обществ и политий в греческие полисы в эпоху, когда было впервые зафиксировано использование термина *демократия*, или возможность массивной имитации греками или экспериментирования на основе более ранних и очевидным образом негреческих практик и приемов⁷. В любом случае трудно поверить, что именно эти вопросы следует задавать. Люди так или иначе должны были изобрести способы принятия и наделения авторитетом решений, обязательных для коллектива в той мере, в которой им приходилось жить вместе по всему миру, и делали они это в гораздо более ранние эпохи, чем те, для которых у нас имеются надежные описания того, как именно они это делали. Трудно себе представить, что мог существовать какой-то определенный и крайне действенный способ это делать, который появился у одной группы людей, говорящих на одном языке, в одном месте и в одно время, но почему-то так и не возник у другой группы где-то еще, раньше или позже. Конечно же, невозможно поверить,

7. Ibid.

что практика собираться вместе на публике, чтобы обсудить, что нужно делать, в тех или иных масштабах или на тех или иных основаниях не возникла и не сохранялась на любом из континентов, заселенных людьми, и что это не произошло задолго до тех времен, для которых у нас имеются письменные свидетельства, демонстрирующие, как участники обращались друг с другом. (Чтобы слова сохранились, они должны быть записаны, и без грамотности не может быть письменности⁸.) Трудно себе представить, что мы самостоятельно нащупали видение того, как гарантировать, чтобы, когда мы собираемся вместе публично обсудить, что делать, лично, виртуально или через доверенных лиц, у нас была бы более убедительная концепция того, как на практике провести эту дискуссию так, чтобы не ущемить ничьих законных интересов.

Греки изобрели слово, а благодаря ему, какими бы ни были его семантические корреляты в других языках до них, в целом ряде древнегреческих полисов и особенно ярко и отчетливо в Афинах расцвела драматическая политическая жизнь. Именно эти яркость и отчетливость, застывшие в тексте, позволили этому слову пережить гибель независимых Афин и даже упадок городов Центрального и Восточного Средиземноморья, которые в общих чертах сохранили многие из своих политических форм для грядущих столетий. Оно выжило не как идеологическая сила или сверкающая эмблема власти, но как инструмент мысли. В какой-то части эта мысль, конечно, касалась идеологической силы, источников и модальностей власти или неустойчивых отношений между властью, благород-

8. Goody J. The domestication of the Savage Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

ными политическими целями и благотворными политическими последствиями. Но это не гарантировало благотворности или эффективности власти и не было залогом чистоты политической цели. Так же, как не указывало на избирательное сродство между формой режима, которую эта мысль обозначала, и поисками научного знания или понимания. Если уж на то пошло, отношение между этой конкретной формой режима и политическими заслугами или когнитивными прозрениями, которое она подсказывала, носило в большей степени противительный, чем взаимно поддерживающий характер.

Поразительно и очень важно, что этот самый распространенный и могущественный термин в мировом политическом дискурсе сегодня и потому, учитывая постоянный рост населения Земли, самый могущественный политический термин из когда-либо существовавших вообще сохранился в сегодняшнем мире не как фокус политической лояльности или нормативных устремлений, но как инструмент мысли. Но этот факт, конечно, никак не объясняет, как и почему этот термин получил такое широкое распространение или почему он обладает такой политической мощью. Чтобы понять, как и почему это произошло, необходимо обратиться к политической истории мира на протяжении того периода времени, в течение которого он повсеместно распространился и приобрел такую важность.

Необходимо пристально рассмотреть, как это слово постепенно входило в политический репертуар разных стран, наживая по дороге друзей и врагов и помогая перестраивать политические коалиции и переконфигурировать политическую вражду. Взгляните на мир в 1750 году, и едва ли вы услышите его в горячих спорах горстки полити-

чески мотивированных интеллектуалов, вроде образцовых радикальных героев Джонатана Израэля, отважно отправившихся по стопам Спинозы⁹. Посмотрите на это слово и прислушайтесь к нему, когда оно оставляет водоворот Французской революции и территории, разоренные наполеоновскими завоевательными войнами, и уже тогда будет казаться, что оно навязало свои цвета зарождающемуся огромному движению за переустройство жизни на эгалитарных началах, которое оказало такое важное влияние на два последующих столетия, которое сегодня, однако, было полностью истреблено в качестве воображаемой и вдохновляющей политической силы¹⁰. Пока это движение — социализм или другие похожие слова — территориально ширилось, пусть и хаотическим образом, оно полностью сохраняло способность совершенно по-другому устанавливать рамку, придавать смысл идее демократии и пусть грубо и неуклюже, но вписывать в эту рамку опыт огромного количества людей. Но эта волна уже давно схлынула, и то, что осталось в самом слове, — лишь бледная тень силы, которой оно некогда обладало. Единственное, что сегодня вынесло это слово так далеко на глобальный берег, — роль, которую оно стало играть в объяснении американской демократии.

До сих пор нет никакого ясного исследования того, как и почему оно стало играть такую роль, хотя «Подъем американской демократии» Шина Вилентца подошел к этому ближе, чем другие.

9. *Israel J.* Radical Enlightenment: Philosophy and the making of Modernity, 1650–1750; Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man; Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and the Human rights.

10. *Dunn J.* Setting the People Free: The Story of Democracy.

Но между хорошо осведомленными учеными есть четкий консенсус, что движение за американскую независимость и последующее построение республики ни в коей мере не было политической борьбой под лозунгом демократии и не было призвано установить соответствующий режим в республике¹¹. В 1776 году слово *демократия* просто не подходило для лозунгов. Оно по-прежнему не теряло связи с отстраненным аналитическим взглядом на политическую жизнь, которому оно обязано своей длительной постафинской исторической карьерой, но который в течение двух тысячелетий ограничивал его узко академическими или интеллектуальными кругами. Но даже в этой среде оно не рассматривалось в качестве адекватного ответа на насущные проблемы какого бы то ни было сообщества, которое с готовностью или без оной признавало бы наличие у себя насущных проблем. Оно не было ответом на загадку чьей-либо истории. В более аналитической перспективе, без сомнения, оно могло использоваться (и порой использовалось) для обозначения свойств нового режима теми, кто тем самым надеялся показать, что для этого режима наступила эпоха более спокойного и длительного существования. В других контекстах некоторые из этих вполне позитивно настроенных наблюдателей, в особенности Александр Гамильтон¹², до этого и после, выражали глубокую вра-

11. Wood G. S. The Creation of American Republic.

12. Hamilton A. The Papers of Alexander Hamilton. Vol. 1. New York: Columbia University Press, 1961. P. 255. Письмо губернатору Моррису, 19 мая 1777 года: «Представительная демократия, в которой право выбора хорошо обеспечивается и регулируется, а законодательная, исполнительная и судебная власть возложена на отдельных людей, действительно, а не номинально избранных наро-

ждебность по отношению к политическому устройству и потрясениям, которые для них обозначало это слово, и надеялись пробудить подобную враждебность в большинстве своих слушателей. Объединяющим началом в движении за независимость было враждебное отношение к подчинению имперскому могуществу и властям по ту сторону Атлантики. Это ни в коей мере не была приверженность демократии как форме правления или политической ценности.

В немногих относительно сложных случаях ее импликации стали рассматриваться как сугубо республиканские — враждебные по отношению к монархии как таковой. Для Джона Адамса уже весной 1776 года «Нет лучше правления, чем республиканское»¹³, взгляд, который он со временем разовьет в весьма пространной манере¹⁴. Для менее важных и в теоретическом плане более неумолимых людей демократия, конечно, не могла быть заменой республике и у многих считалась несущей свои, весьма специфические, опасности. Для тех, чьи ставки на страну были велики, простая демократия была близка к чистой угрозе. В тот же год в Мэриленде

дом, по моему мнению, скорее будет счастливой, правильной и длительной». Это отнюдь не единственный тон, в котором Гамильтон говорит о демократии. Касательно его роли героя и злодея в основании американского государства см.: *Racove J. Revolutionaries: Inventing an American Nation. London: William Heinemann, 2010. Ch. 9; Wood G. S. Revolutionary Characters: What Made the founders different. London: Penguin, 2007. Ch. 4.*

13. *Racove J. Revolutionaries.*

14. *Handler E. America and Europe in the Thought of John Adams. Cambridge: Harvard University Press, 1964; Haraszti Z. John Adams and the Prophets of Progress. New York: Grosset&Dunlap, 1964; Racove J. Revolutionaries; Wood G. S. Revolutionary Characters.*

Чарльз Кэррол из Кэрроллтона, один из богатейших людей Северной Америки, называл перспективу «простой демократии», которую, как он считал, намереваются установить его товарищи по написанию конституции, худшей из всех форм правления и обреченной закончиться, «как заканчивались все демократии», деспотизмом¹⁵. Для Джеймса Мэдисона начиная с десятого «Федералиста»¹⁶ перспектива стабилизации и консолидации новой республики зиждилась не на хаотических моделях, позаимствованных из древнегреческого прошлого, но на создании новой модели силами небольшого числа одаренных, опытных и убежденных людей, обладающих достаточным политическим весом и мастерством, чтобы увлечь за собой сограждан. Огромная масса сторонников или противников новой конституции, по его убеждению, «должна следовать суждениям других, а не своим собственным... счастливому совпадению ведущих мнений и общей вере людей в тех, кто может это рекомендовать»¹⁷. Именно это суждение лежало в основе его статей в «Федералисте».

К сороковым годам XIX столетия, когда Токвиль засел за работу над своим не имеющим рав-

15. *Hoffman R. and al.* Dear Papa, Dear Charley... Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001; *Racove J.* Revolutionaries. P. 188.

16. *Hamilton A., Madison J., Jay J.* The Federalist Papers. New Haven: Yale University Press, 2010. P. 47–53; см. также: *Racove J.* James Madison and the Founding of the American Republic. New York: Longman, 2002, Original Meaning: Politics and Ideas in the Making of the Constitution. New York: Vintage, 1997; *Banning L.* The Sacred Fire of Liberty. Ithaca: Cornell University Press, 1995; *McEvoy D.R.* The Last of the Fathers: James Madison and the Republic Legacy. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

17. *Racove J.* Revolutionaries.

ных толкованием¹⁸, новая республика и номинально, и по существу приняла демократию. Когда она выбрала республиканскую независимость вместо того, что она стала считать имперским подчинением, у нее оказалось мало альтернатив. В бывшей колонии были богатые семьи, и, как и всегда, они претендовали на то, чтобы продолжать жить со своим богатством, но к 1776 году не было никого, кого можно было бы по ошибке принять за аристократию, а если где и остались отдельные следы аристократических замашек и высокомерия, они все равно были уже не способны наложить отпечаток на новый политический порядок. В конце концов несмотря на первоначальную панику, никто из отпрысков богатых семей не предпринял никаких действий. А так как не могло быть сомнений в том, что это была республика, и республика не аристократического толка, то новому режиму не оставалось другого выхода, как стать демократией. И он со временем ею стал, как в своих собственных глазах, так и, пока не столкнулся с осуждающим взглядом воинствующе-холистических сторонников равенства в Европе и за ее пределами, в глазах всех тех, кто пожелал его проинспектировать.

Вы можете не соглашаться, подобно тому, как многие сегодня не соглашаются, с Луисом Хартцем¹⁹, считающим, что такой исход сделал амери-

18. *Tocqueville A. Democracy in America. Chicago: University of Chicago Press, 2000.* О жизни, которая за этим стояла, можно прочесть в: *Brogan H. Alexis de Tocqueville: A Life. New Haven: Yale University Press, 2007.* Трезвую оценку см.: *Wolin S. Tocqueville Between Two Worlds. Princeton: Princeton University Press, 2001.*

19. *Hartz L. The Liberal Tradition in America. New York: Harcourt, Brace&World, 1955; Hartz et al. The Founding of New Societies. New York: Harcourt, Brace&World, 1964; cp.:*

канское понимание политики слишком поверхностным, что, в свою очередь, нашло отражение в относительно узком горизонте ее социального и экономического опыта. Сложнее будет отрицать его настойчивый тезис о том, что в результате этого острейший идеологический конфликт, касающийся легитимности нового порядка, оттеснил вопрос о его совместимости с системой рабского труда, требовавшей, чтобы рабы были исключены из числа граждан. Подобный исход не обескуражил бы толкователей демократии в тех сообществах, в которых этот термин впервые был наделен смыслом. Но если бы исход войны между штатами был иным, это имело бы катастрофические последствия для американской модели демократии в ее борьбе с открытыми сторонниками равенства в большинстве стран остального мира. Что бы там ни думали некоторые из обитателей Америки, умудряющиеся успешно отрицать факты, для постороннего человека рабовладельческое общество едва ли будет выглядеть системой политического равенства. Трудно переоценить степень того, насколько глобальный подъем демократии как категории политических устремлений зависит от привлекательности равенства по сравнению с привлекательностью иерархии как категории политической идентификации. И экономическое, и социальное равенство обладают своей собственной привлекательностью, и вопрос о том, насколько политическое равенство требует для своего осуществления экономического или социального равенства и насколько проблемы экономической организации исключают осуществ-

Wood G. S. The Radicalism of the American Revolution и The Creation of the American Republic; Wilentz S. The Rise of American Democracy.

ление даже самых рудиментарных элементов экономического или социального равенства без того, чтобы навязать практически всем огромные издержки, всегда остается открытым.

Чтобы увидеть, что происходит с категорией демократии по мере того, как она перемещается с территории Европы и Северной Америки на другие континенты, необходимо выяснить не только то, на какие формы правления или последовательности опыта с его помощью указывают, но также и то, каким формам равенства оно, как будто бы, угрожает, а какие, наоборот, обещает и с какими типами экономической структуры считается совместимым или несовместимым. Везде, куда добирается эта категория, рано или поздно приходится учиться отвечать на эти вопросы с помощью собственного объяснительного аппарата, на основе собственного политического и экономического опыта и с учетом собственных непосредственных затруднений. В результате всегда получается крайне сложный политический процесс. Бывают периоды бездумной ясности, когда проблемы взаимной интеллигентности как будто отступают на задний план и одна форма режима рушится, а на смену ей внезапно приходит другая, попросту ее превосходящая (возможно, самый яркий из недавних примеров — возникновение «оранжевых» революций). Но рано или поздно интерпретативная сложность возвращается на место и все снова затягивается туманом, существенно сокращая политическую видимость. Это когнитивное ограничение — не интеллектуальный дефект нынешних представителей нашего биологического вида (или профессии), который в будущем может быть как-то исправлен благодаря расширению наших способностей. Это онтологическая особенность мира,

учитывая то, кто мы и где находимся, и мы не можем рассчитывать на то, чтобы легко ее преодолеть. Что мы можем и должны сделать — так это научиться с ним жить с большей терпимостью и взаимной снисходительностью.

Чтобы воспитать эту снисходительность, полезно сосредоточить внимание на одном из крупных крушений и переустройств исторических режимов на других континентах, изменивших глобальную структуру власти в последнем столетии. Для большей части столетия было бы естественно начать с России, но бесспорный провал этого заметного, но неуклюже проведенного эксперимента, вместе с падением СССР, сделал задачу по пониманию того, почему он прошел так, как прошел, и почему закончился таким образом, каким закончился, менее насущной, хотя от этого и не менее простой для решения. По крайней мере на сегодняшний момент стоит более срочная задача улучшить наше понимание того, что происходило с этой категорией во время ее приключений в двух других больших обществах на Азиатском континенте. В одном из них, как в бывшей части Британской Индии, интерпретация этой политической категории была прежде всего ответом на политическое поведение и наследие бывшей имперской державы, хотя, общепризнанно, с более поздними и не всегда поучительными дополнениями со стороны России и Китая. В этой среде категория демократии на протяжении долгого времени интерпретировалась с пристальным и неослабевающим вниманием и с большой изобретательностью. В другом обществе, Китае, столкновение с демократией как с практической особенностью политического мира с самого начала сопровождалось большим вниманием к идиосинкразийному политическому опыту Америки.

К счастью, одно из самых тонких и вразумительных объяснений процесса, посредством которого весь остальной мир силился понять обещания и угрозы, таящиеся в этой навязчивой западной категории, было дано в эссе китайского ученого Сюна Юэчжи, в котором он подвел итог своим исследованиям на протяжении нескольких десятилетий²⁰. В центре его работы были внутренние трудности, с которыми сталкивались китайские официальные лица, ученые и журналисты, когда пытались понять, что же такое американская демократия, и связанные с ними трудности западных миссионеров или журналистов, пытавшихся передать собственное понимание ее практического характера и свое самопонимание китайским читателям или слушателям. Некоторые из этих трудностей были прежде всего трудностями перевода — установления связи между словами одного языка, выработанного для понимания и осуществления одного набора практик в одном обществе, и словами другого языка, выработанного для того, чтобы артикулировать и осуществлять совершенно иной набор практик в совершенно ином обществе. В случае Китая, как уже долгое время и с большим искусством показывают самые талантливые интерпретаторы современной интеллектуальной истории этой страны²¹, язык,

20. *Xiong Yu*. Difficulties in Comprehension and Difficulties in Expression: Interpreting American Democracy in the Late Qing // *Late Imperial China*. 2002. Vol. 23. No. 1. P. 1–27.

21. *Levenson J. R.* Confucian China and Its Modern Fate. London: Routledge & Kegan Paul, 1958–1965; *Schwartz B. I.* In Search of Wealth and Power. New York: Harper, 1964; *Grieder J. B.* Hu Shih and the Chinese Renaissance: Liberalism in the Chinese Revolution, 1917–1937. Cambridge: Harvard University Press, 1970; *Huang M. K.-W.* The Meaning of the Freedom: Yan Fu and the Origins of the Chinese Liberalism; более широкий обзор непосредственной исторической

на который должен был производиться этот перевод, особенно плохо подходил для фиксации сути и характера варварских политических практик, потому что он глубоко пронизан взглядами на самые политические основы цивилизации, поддерживавшиеся и консолидировавшиеся веками. В Поднебесной порядок был жестко иерархическим. Он отдавал предпочтение миру и подчинению одной-единственной вершине власти, с обостренной подозрительностью относился к конфликту, несогласию и активному сопротивлению (по крайней мере до тех пор, пока они не отошли на приличное расстояние в прошлое) и рассматривал порядок, который хотел и обещал обеспечить, как основанный на ответственности и прозорливости не только самих императоров и их придворных, через которых они осуществляли свою власть, но и на ученых-чиновниках и образованной знати в провинциях, которая в большинстве своем их поддерживала и стремилась оттачивать свои суждения²².

среды см.: *Wang Y.C.* Chinese Intellectuals and the West Chapel: University of North Carolina Press, 1966. P. 306-421, и *Tse-tung Ch.* The May Fourth Movement: Intellectual revolution in Modern China. Cambridge: Harvard University Press, 1960. Самая амбициозная и проницательная западная попытка оценить размах данных противоречий была предпринята в работе Метцгера. См. в особенности: *Metzger T. A.* A Cloud Across the Pacific. Hong Kong: Chinese University Press, 2005.

22. *Hsiao K.-ch.* A History of Chinese Political Thought: from the beginning to the Sixth Century A. D. Princeton: Princeton University Press, 1979. Первый том был завершен в 1941-м, но английский перевод вышел только в 1979 году, а второй том еще не закончен. *Fairbank J.J.* The Chinese World Order: Traditional China's Foreign Relations. Cambridge: Harvard University Press, 1968; *Chi-Chao L.* History of Chinese Political Thought During the Early Tsin Period. London: Kegan Pole, 1930; *Schwartz B. J.* The World of

Когда обитатели этой крайне дифференцированной, а иногда и глубоко интеллектуально ангажированной среды приняли вызов и решили обратиться в варварских политических практиках, они направили свой взгляд на власть — на неотложную потребность победить все более назойливых, бесстыдных и вредных торговцев и канонерки с Запада их же оружием. Они стремились понять, откуда пришла власть, которая без конца им досаждала, и на чем она зиждется, чтобы самим воспользоваться ее источниками. Поскольку структуры, которые им досаждали, сами имели крайне смутное представление об ответе на этот вопрос, китайцы обречены были на долгие и запутанные поиски. Даже после триумфального прихода к власти в 1949 году Китайской коммунистической партии оставалось неясным, насколько велик был прогресс Китая в поисках этого ответа, пока в дело решительно не вмешался Дэн Сяопин²³. Но даже тогда ответ, который он нашел, был сугубо прагматическим и агностическим по ряду вопросов политического, экономического или культурного выбора — все кошки одинаково хороши, если они ловят мышей²⁴.

Thought in Ancient China. Cambridge: Belknap Press, 1985; Mote F. W. Imperial China, 900–1800. Cambridge: Harvard University Press, 2003. Поучительное сравнение с индийским опытом см. в: Ocko J. K., Gilmartin D. State, Sovereignty, and the People: A Comparison of the 'rule of Law' in China and India // Journal of Asian studies. 2009. Vol. 68. No. 1. P. 55–100.

23. Vogel E. F. Deng Xiaoping and the Transformation of China. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

24. Vogel E. F. Deng Xiaoping and the Transformation of China. Мао Цзэдун критиковал лозунг (Р. 164), но лозунг содержал в себе важный элемент подхода Дэна Сяопина к управлению (Р. 391).

Если внимательно присмотреться к текущим культурным баталиям в этой затянувшейся позиционной войне, окажется, что демократия играет поразительную роль. С точки зрения американских наблюдателей, эта категория неизбежно оспаривает политическое положение Китайской коммунистической партии и легитимность всех, кто пришел к власти через нее. Она постоянно балансирует на грани отказа признать суверенную власть Китая над Тайванем, Тибетом, Синьцзяном, а если Народная республика когда-нибудь попадет в серьезную беду и в ней возобновятся войны между региональными кланами, то потенциально и над любой значимой частью страны. С точки зрения китайских руководителей, демократия — это подстрекательство к революции, анархии или по меньшей мере к роспуску или отмене власти, которую они победоносно удерживают с 1979 года. Для тех, кто связан с действующей властью, это категория, о присвоении которой они предусмотрительно позаботились. В конце концов, чья это республика, как не «народная»? Когда эта категория используется иностранными критиками или врагами государства, она служит для обвинения их в обмане или незаконном присвоении того, что никогда не принадлежало им по праву.

Очевидно, что это разногласие по очень многим вопросам. Оно распространяется вдоль и поперек, вызывает большую враждебность и затрагивает настоящие интересы обеих сторон (хотя, возможно, в большей степени сугубо личные интересы китайской стороны, в чем она не готова признаться: чья это республика в конце концов?). Как минимум это разногласия в отношении того, откуда общество берет своих лидеров, какую свободу действий им следует предоставлять и как она сказывается на их мо-

ральных принципах или самоограничении, с которыми они решают действовать, какие благотворные или пагубные последствия может иметь наличие или отсутствие внешнего контроля и личной подотчетности для тех, кем они управляют. Этих вопросов слишком много для одной-единственной и в какой-то мере расплывчатой концепции; и неудивительно, что соответствующие споры часто оказываются диалогом глухих и практически никогда не поясняют точки зрения сторон.

Вы можете посмотреть на плюрализм вопросов либо аналитически, либо политически. Если посмотреть аналитически, они так и останутся множественными, а любое политическое понимание, которое это даст, неизбежно будет временным и гипотетическим, своего рода калейдоскопом, цвета в котором меняются всякий раз, когда вы меняете угол, под которым его держите. С политической точки зрения они, конечно, могут быть ничуть не менее многообразными и напрямую соотносящимися с позициями и пристрастиями индивида или группы, которые на них смотрят. Но если смотреть на эти вопросы с политической точки зрения, такой взгляд может оказаться обобщающим суждением или выбором, касающимся прежде всего того, на что опирается или должно опираться политическое доверие. Именно в отношении этой последней оценки не только американские лидеры, но и большая часть политически активного населения Америки очень сильно расходятся не только с нынешними китайскими лидерами, но и, как мы можем сегодня с уверенностью утверждать, с большинством политически активного населения Китая. (Вспомним предсказуемую реакцию населения Ирака на операцию «Страх и трепет».) Американская убежденность, в целостности сохранившаяся, как

мы сегодня видим, с 1776 года, идет прежде всего от этого процесса: того, каким образом американские лидеры получают свою власть.

Никто из тех, кто сегодня инспектирует Соединенные Штаты, не смог бы в здравом уме прийти к выводу, что этой страной правит ее народ; но существенное большинство тех, кто так или иначе управляет этой страной сегодня, как и на протяжении этого весьма впечатляющего периода времени, получили возможность управлять, напрямую или через представителей, с любезного согласия этого народа. В отношении Китая с его гораздо более длинной историей ничего такого нельзя сказать. Несмотря на очевидные и порой крайне ожесточенные разногласия относительно того, какие именно полномочия народ предоставил власти и должен ли он предоставлять такие полномочия, и сколь бы жалкой, запутанной и неправильной ни казалась им последовательность выбора, американцы более или менее едины в горделивой убежденности, что любой мандат, который когда-либо имело их правительство на совершение каких-либо действий, был получен этим правительством только благодаря свободному выбору народа. С этой спокойной и уверенной точки зрения американцам, при всех их внутренних страхах, унижениях, преступлениях и страданиях, трудно не смотреть на политические затруднения всего остального мира с определенной долей снисходительности. И, каким бы значительным ни было политическое и личное неравенство, ничто не вызывает у народа Китая большего возмущения, чем то, что они считают снисходительностью варваров. Отсюда нежелание принимать в качестве единственной и решающей оценки критерий ярко выраженного западного происхождения (и даже

новости из Месопотамии²⁵ не способны успокоить китайцев), к тому же фетишизирующий процесс, в соответствии с которым те, кто сегодня находится у власти, просто не имеют права у нее находиться. Вполне очевидно, имплицитная взаимная оценка положения двух государств едва ли может быть приемлема для нынешних правителей Китая. Но не менее важно признать, с точки зрения гораздо более длительного политического опыта Китая²⁶, странность этого способа понимания относительных достоинств и недостатков этих двух режимов.

Пока еще нет веских оснований предполагать, что китайский опыт может каким-то образом произвести концепцию ответственности и характера современного государства, которая окажется существенно здоровее и мощнее, чем та, что в конечном итоге возникла из политических страданий, которые Европа в основном причиняла сама себе. Но люди — крайне изобретательный в интеллектуальном плане вид, и было бы неразумно (и невежливо) заранее исключать эту возможность. Но если китайские интерпретации политики вряд ли в ближайшее время предложат полную замену американских, не исключено, что они уже содержат элементы, которые могли бы помочь сбалансировать и перестроить нынешние суждения о том, кто и что должен делать в современном мире, в более перспективном ключе.

Американскую критику нынешнего состояния Китая, всегда скрыто присутствующую, но не всегда четко различимую в публичном или даже более

25. *Keane J. The Life and Death of Democracy. New York: W. W. Norton, 2009. С. 101–126.*

26. *Hsiao K-ch. A History of Chinese Political Thought.*

приватном диалоге между двумя странами, легко можно резюмировать следующим образом. Те, кто управляет Китаем, пришли к власти посредством процесса, который не выдержал бы беспристрастной проверки, который не обеспечивает ясных или надежных ограничений применения власти, требует лишь минимальной и спорадической личной подотчетности и не требует вообще никакой корпоративной подотчетности перед теми, над кем они вершат свою власть, не дает правителям Китая предсказуемо сильных или прочных оснований для осуществления этой власти с учетом интересов тех, кем они управляют, непоследователен в обеспечении их пониманием и информацией о том, что собой представляют эти интересы, и потому совершенно не способен защитить подданных (то есть граждан Китая) от всех последствий произвола, цинизма или жестокосердия. С несколько меньшей уверенностью, с существенно меньшей достоверностью, но, к счастью, с большей сдержанностью критики далее берутся утверждать, что те, кто сейчас находится у власти, оказались плохими защитниками интересов тех, кем они управляют, и, как следствие, проявили себя гораздо худшими защитниками, чем их американские коллеги, которым посчастливилось действовать в гораздо более пристойной и продуманной политической архитектуре. Важно продумать эту аналитическую логику до этого последнего пункта, потому что он демонстрирует дисбаланс во взгляде Америки на Китай и потенциальный выигрыш от достижения более сбалансированного американского понимания политики с помощью того, что вполне можно считать китайским пониманием политики (хотя это и стиль понимания, присущий отнюдь не одному только Китаю).

До этого последнего пункта в цепочке рассуждений, которым, как водится, служит момент подведения итога, сила американской критики существующего в Китае государства не вызывает сомнений. В самом деле, большинство ее положений вы можете рано или поздно встретить в более спорадическом и разрозненном виде в собственном дискурсе китайского государства, который оно обращает к себе и к своим подданным. Государство, применительно к которому все эти обвинения оказываются обоснованными (а многие из них имплицитно признавались даже защитниками и приверженцами этого государства), очевидно, не является хорошо устроенным государством, пребывающим в добром политическом здравии. Вполне вероятно, это дурно устроенное государство, находящееся в состоянии прогрессирующего разложения. И тем не менее ни одно предшествующее государство не меняло жизненные возможности населения сопоставимых размеров так радикально и такими темпами, какими это критикуемое государство изменило Китай. За эти три десятилетия было причинено немало чудовищного вреда; но едва ли в мире найдется хоть один здравый человек, который, положив руку на сердце, захочет, чтобы Китай вернулся в 1979 год. Насколько лучшей, чем в 1979 году, средой обитания для своих граждан стали сегодня Соединенные Штаты и кому именно в этой стране стало лучше жить? Демократия в американском понимании — не талисман, гарантирующий удовлетворительные политические результаты. Неблагоразумно, да и неправильно, предлагать ее другим под видом того, что она такие результаты гарантирует.

Сбалансированная оценка относительных достоинств двух очень разных общественно-полити-

ческих устройств, — ненадежное и обременительное предприятие даже в лучшие времена, но по мере того, как политический опыт переживает бесконтрольную глобализацию, этим придется заниматься все чаще и с большим упорством. Там, где два этих общества уже начинают конкурировать за мировое господство и где каждое из них может видеть себя только как венец долгой горделивой истории и ставить под угрозу свое чувство идентичности, признавая непоправимые разрывы в этой своей истории, эта и без того непростая задача сравнения становится еще более трудной. Признавать выдающиеся политические достоинства Китая — значит уже ставить под сомнение американское политическое самодовольство. Это относительно легкий шаг для властей самого Китая. И как бы ни относились друг к другу нынешние правители Китая, они, как корпорация, являются источником и основой порядка, существующего сегодня во всем Китае. Другого независимого источника порядка нет, и нет внешней основы, на которой кто-либо мог бы легко приступить к его созданию. Поставить под угрозу этот и без того далеко не совершенный и крайне уязвимый порядок значило бы, как говорил Эдмунд Берк, «играть в отчаянно опасную игру»²⁷.

Что могло бы послужить для современных правителей Китая достаточным основанием для того, чтобы сыграть в эту игру? Что еще важнее, что *должно было бы* дать им такое основание? Едва ли это может быть необходимость лучше обращаться

27. *Burke E. Reflection on the Revolution in France. New Haven: Yale University Press, 2003. P. 157–158; Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. М.: Рудомино, 1993.*

со своими подданными или как можно лучше обеспечивать их благополучие — обязанности, которые они уже и так полностью признают, хотя и не всегда соблюдают, и которые могут быть исполнены только путем сосредоточения и углубления власти возглавляемого ими государства.

Когда китайские официальные лица и ученая знать полтора столетия назад впервые попытались понять, что такое американская демократия, они сконцентрировали свое внимание на трех вопросах: кто именно стоит на вершине американского государства? Как это лицо туда попало и как там удерживается? И какое влияние то, каким образом оно туда попало, в действительности оказывает на его последующие действия? Именно последний из трех вопросов (предсказуемые последствия механизма получения политической власти) больше всего заинтересовал китайцев, но произошло это тогда, когда у Китая не было никакой возможности позаимствовать эту модель. За длительный период, прошедший с того времени, ни один из этих вопросов не утратил своей актуальности и значение всех трех выросло в связи с превращением США в мировую державу. Сейчас, как и тогда, ответы на первые два вопроса не оказывали особого конкурирующего давления на понимание Китаем основы и ценности своего порядка.

Наоборот, ответ на третий вопрос вскоре приобрел безотлагательный характер. Именно политическая конфигурация, возникшая из этого сравнения, является ключом к политическому вызову, который Америка сегодня бросает легитимности китайского государства, и утешением, которое американское и индийское государства находят в сходстве порядка легитимации в своих странах. Было бы глупо отрицать, что, при всех бедах и по-

роках, которыми сопровождается осуществление власти в Китае, правители этой страны и их подданные не слишком обеспокоены ответами на первые два вопроса. Но вес китайской власти все еще зависит от относительно слабого вызова по этим двум первым пунктам: ее растущей неспособности предложить убедительный фокус авторитета и расплывчатые отношения с прошлым, какое, как легко может показаться со стороны любому другому народу, стоит за этой властью²⁸.

Американская мечта обладала необыкновенной властью над огромными разнородными массами населения на протяжении очень продолжительного периода времени. С тех пор как Токвиль и Бомон вернулись из своего исторического путешествия²⁹, новости об этой власти разошлись еще шире по всему миру. Но сама эта власть-мечта распространялась не с такой скоростью. Другим людям в землях разной удаленности власть, которой обладали и которую осуществляли Соединенные Штаты, казалась совершенно иной. Она выглядела отнюдь не столь очаровательной и зачастую даже представлялась весьма угрожающей. В классической дилемме безопасности, разыгрываемой между государствами, трудно увеличить свою собственную безопасность, не поставив под угрозу других и тем самым не укрепив их в жела-

28. *Racove J.* Original Meanings; *Dunn J.* Unmanifest Destiny // *Hamilton A., Madison J., Jay J.* The Federalist Papers, New Haven: Yale University Press, 2010. С. 483–501.

29. *Pierson G. W.* Tocqueville in America, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996; *Tocqueville A.* Journey to America. London: Faber & Faber, 1959; *Tocqueville A.* Letters from America. New Haven: Yale University Press, 2010; *Beaumont G.* Lettres de l'Amérique, 1831–1832, Paris: Presses Universitaires de France, 1973.

нии увеличить их собственную способность угрожать. Гордость каждого из государств оказывает сильное давление на гордость других государств, принуждая их к демонстративному утверждению их собственных уникальных достоинств и требованию надлежащего почтения и скромности со стороны всех остальных. Америке с самого начала было нелегко вступить в конфронтацию с тем, что некогда было третьим миром, именно по этой причине. В связи с заметным подъемом Китая, начавшимся в 1979 году³⁰, эта конфронтация достигла нового уровня боли и опасности.

30. *Vogel E. F. Deng Xiaoping and the Transformation of China; Kirby W. C. The People's Republic of China at 60: an International Assessment*, Cambridge: Harvard University Asia Center, 2011; *Helman S., Perry E. Mao's Invisible Hand: The Political Foundations of Adaptive Government in China*. Cambridge: Harvard University Asia Center, 2012.

ГЛАВА 3

Признать дезориентированность демократии

ДО СИХ ПОР сложно четко выявить ключевые интеллектуальные и политические элементы судьбоносной конфронтации двух этих выдающихся режимов — Соединенных Штатов и Китая. В Соединенных Штатах взгляд на то, как может и должна выстраиваться государственная власть, легитимированная и направляемая по всему миру (назовем это демократией), сопровождается спокойной уверенностью в том, что этот взгляд в значительной мере соответствует тому, как власть строилась, легитимировалась и направлялась на их собственной территории и их собственным народом в течение продолжительного периода времени. Этот взгляд подчеркивает легитимирующий потенциал процесса выборной конкуренции, работающего в рамках специфической структуры сдерживания и откладывания. Полученная модель отнюдь не является прозрачной и совершенно по-разному работала в разное время. Однако из того, что происходит повсюду в мире, совершенно ясно, что она проливает очень мало света на то, как на самом деле было построено американское государство или как было создано благосостояние американского народа, и практически ничего не объясняет в том, как не столь удачливый народ может питать разумную надежду

на то, чтобы построить власть своего собственного государства, не говоря уже о том, чтобы увеличить свое личное и коллективное благосостояние. Если смотреть из другой страны, может показаться, что в американском видении демократии по большей части мистическая картина зарождения американской власти ошибочно принимается за произвольный и недостоверный рецепт порождения собственной контрвласти.

На другой стороне этого противостояния, в Китае, есть горестное понимание того, как на самом деле была построена власть, более утешительное чувство от того, насколько эффективно эта власть управляла теперь уже на протяжении трех десятилетий и как велики были успехи в наращивании благосостояния и военной, и дипломатической мощи страны, которые из этого произошли, а также совершенно обескураживающее чувство шаткости ее обоснования чем-либо еще, кроме прошлого или этих успехов. Конечно же, была решающая победа Коммунистической партии в жестокой и длинной гражданской войне в Китае. Но это было уже давно. Если сегодня посмотреть через Тайваньский пролив, десятилетия спустя после голода при Мао¹, характер этой конфронтации в гораздо более определенной степени представляется чисто военным. На протяжении относительно долгого времени Соединенные Штаты наслаждались своей мощью и богатством. Им не нужно было специально искать ни то ни другое. Положение правителей Китая совершенно иное. Легитимность, которой они сегодня пользуются, в значительной степени связана с наглядным масштабом их совсем еще све-

1. *Dikotter F. Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958-1962.* London: Penguin, 2011.

ПРИЗНАТЬ ДЕЗОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ДЕМОКРАТИИ

жих успехов в достижении и сохранении мощи и богатства. В Соединенных Штатах процветание, мощь и легитимация шли рука об руку и так было почти с самого начала. Многие из местных американских идеологов до сих пор испытывают сильное искушение приписать мощь Америки ее процветанию, а сами мощь и процветание — счастливому характеру их вековой легитимации.

Никто из хоть сколько-нибудь осведомленных интерпретаторов китайского опыта не может рассматривать его таким образом. В Китае легитимация остается фактором настоящей опасности для режима в целом. Многие с разной степенью уверенности считают, что эта опасность на деле окажется несущественной, и, если она действительно окажется таковой, если высокие темпы экономического роста, как сегодня, смогут легитимировать все что угодно и никогда не замедлятся, встреча Китая с демократией как со словом или как с идеей может и не нести с собой никакого долгосрочного политического содержания. Ссылки Коммунистической партии Китая на ленинское наследие, каким бы анахронизмом они ни казались на других широтах и сколь бы ни были бедны рациональным содержанием, могут и дальше обеспечивать ее необходимой легитимацией². Но до сих пор нет окончательной уверенности в том, что это суждение верное. Легитимация одними только темпами роста таит в себе много рисков для любого режима. Как только эти темпы снижаются, заметнее становятся убогая и грубая основа, которая их поддерживала, и труднее становится избавиться

2. *Helman S., Perry E. Mao's Invisible Hand: The Political Foundations of Adaptive Government in China. Cambridge: Harvard University Asia Center, 2012.*

от апелляций к альтернативным основам для идентификации. При таких обстоятельствах резко возрастает популярность легитимации через процесс и даже значимость такого термина, как *демократия*, с успехом выхолащивавшегося десятилетиями пустого употребления, может внезапно измениться. Некоторые передовые китайские мыслители испытали глубокое влияние Джона Дьюи³ и рассматривали демократию в ее американском понимании как рецепт для политического будущего Китая, но они не добились особых успехов в контактах с политической властью. (Думаю, практически то же самое можно сказать и о самом Дьюи⁴.) Привлекательность взгляда на демократию, который предлагает Дьюи, состоит прежде всего в картине общества, процветающего благодаря активному участию и интерактивной интеллектуальной энергии всех его членов, общества, наполненного жизнью и умом и постоянно бросающего все имеющиеся у него человеческие ресурсы на решение встающих перед ним проблем. Эта картина предполагает прежде всего наличие общества и общества как собрания людей, заведомо способных признавать принадлежность друг друга к этому обществу и действовать сообща или против друг

3. *Grieder J. B.* Hu Shih and the Chinese Renaissance: Liberalism in the Chinese Revolution, 1917–1937, Cambridge: Harvard University Press, 1970; *Huang M. K.-W.* The Meaning of the Freedom: Yan Fu and the Origins of the Chinese Liberalism. Hong Kong: Chinese University Press, 2008. В некоторой степени эта работа вдохновлялась: *Metzger T. A.* A Cloud Across the Pacific. Hong Kong: Chinese University Press, 2005.

4. *Westbrook R. B.* John Dewey and American Democracy. Ithaca: Cornell University Press, 1991; *Ryan A.* John Dewey and High Tide of American Liberalism. New York: W. W. Norton, 1995.

друга. Она предполагает политический порядок, не основанный на принуждении одних другими, а также то, что в отсутствие принуждения может существовать не только естественное состояние, но и что-то еще.

Китайская картина при всей ее исторической гетерогенности предполагает нечто совершенно иное. Она предполагает, что для того, чтобы в жизни людей был порядок, его характер и содержание должны быть интеллектуально признаны и обеспечены на практике за счет воли, способности к суждению и убеждению, имеющейся у тех, кто способен его признавать. Она предполагает необходимость учить принципам порядка тех, кто не способен самостоятельно их разглядеть, а также внушать тем, кто не может их самостоятельно увидеть, императивное принятие того, что сделано за них теми, кто может. Если у американцев горизонтальный и эвристический взгляд на легитимированную власть, если для них это процесс открытия, производимого теми, кто в основном стоит на одном и том же уровне, то соответствующий китайский взгляд, при всех неизбежных вариациях на протяжении поразительно долгого периода времени, в течение которого он применялся, был и остается иерархическим и дидактическим⁵. Он

5. *Hsiao K.* A History of Chinese Political Thought: from the beginning to the Sixth Century A. D. Princeton: Princeton University Press, 1979. Конечно, было множество европейских прецедентов взглядов гораздо более близких к китайским, чем к американским: *Ullman W.* Medieval Political Thought? London: Penguin, 1975; *Ullman W.* Principles of Government and Policies in the Middle Ages. London: Methuen, 1966; *Weber M.* Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. New York: Bedminster Press, 1968; *Bloch M.* The Royal Touch: Sacred Monarchy

предполагает одновременно и потребность и потенциальное наличие определенной вершины власти, и такую вершину власти, которая может и должна навязывать свое превосходящее видение остальным китайцам, а в последние два столетия еще и тем, кто не имел счастья родиться китайцами «хань».

Очень трудно думать ясно, удерживая в голове оба этих пространства, и видеть, как они влияют друг на друга. Кроме того, при таких попытках смертельно опасно исходить из того, что одно из этих пространств предлагает привилегированную точку зрения, с которой предпринимаются эти попытки. Единственный наиболее важный пункт, касающийся значения демократии как политической формулы, — интеллектуальная абсурдность и политическая опасность попытки понять ее на основе такого рода привилегии.

Но какова альтернатива? Как еще можно о чем-то думать, кроме как не со своей точки зрения? Покойный Сэмюэл П. Хантингтон подвергся грубым нападкам (а также получил неплохие дивиденды) за то, что настаивал, что на протяжении всей истории человечества цивилизации всегда сталкивались друг с другом и, совершенно не скрываясь, продолжают делать это и сегодня⁶. Посыпавшиеся на него за это довольно банальное замечание оскорбления касались предположительных мотивов, заставивших его сделать подобное утверждение, ущерба, который способны причи-

and Scrofula in England and France, London: Routledge & Kegan Paul, 1973.

6. *Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.* New York: Simon & Schuster, 1996; *Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.* М.: АСТ, 2003.

нить его заявления, и интеллектуально нездорового способа мышления, который его к этому привел.

Беспрецедентная в истории человеческой речи одиссея слова *демократия* — урок того, как зафиксировать значимость феномена, на который указал Хантингтон, не впадая ни в фатализм, ни в шовинизм, которые его критики поторопились ему приписать. Когда демократия со своими радостями и горестями наконец пересекает границы, которые его особенно беспокоили — политические или демографические границы исламского общества по всему миру, — проще увидеть, что означает и чего не означает этот переход. Вдохновляющий прорыв демократии через границы не пришел откуда-то извне. Он уже там существовал, пусть в горестном ожидании и в очень скромных размерах.

Главная привлекательность и сила демократии в той форме, в которой она сохранилась в современном мире, именно в этом моменте отказа. Они проявляются, когда люди заявляют, как они заявили на площадях Туниса, Каира, Бенгази и даже Дамаска, что больше не хотят этот режим. В этих условиях, сколь сильно бы ни расходились причины, которые свели этих людей вместе, и сколь бы несовместимыми ни были между собой цели, которых они хотели достичь, то, что они отвергали, приобретало гипнотическую конкретность. В этом цель, которая их соединила, и результат, к которому они стремятся, оказываются настолько ясными, едиными и даже порой солидарными, насколько это вообще возможно для политических целей очень большого количества людей. Однако на данный момент, временно, опция против режима — это опция за демократию, потому что демократия в самых общих ее чертах — просто опция по умолчанию. Либо режим, либо демократия, либо хаос.

Большинство людей в центре Каира, Триполи или Дамаска, как и в других местах, меньше всего хотят хаоса⁷. Они могут себе его позволить лишь на очень короткое время. Поэтому они хотят либо режим, либо нечто совершенно иного, а на данный момент имя этого иного — демократия: политическая форма, которой, как выясняется, хотят люди, когда им позволяют выбирать.

Сравните это с картиной наступления демократии в каком-то месте, как ее принято видеть у американцев и как некоторые из них ее видели, по крайней мере в течение нескольких лет после 1989 года. «В начале, — очень давно писал Локк по совсем другому политическому поводу, — весь мир был подобен Америке»⁸. Более чем три столетия спустя, когда демократия стала опцией по умолчанию при смене режима, на какое-то очень короткое время это казалось предзнаменованием ее удивительной глобальной судьбы. В конце концов, по крайней мере политически, весь мир мог стать подобен Америке по своим политическим вкусам, политическим привычкам, а следовательно, по своим ключевым пристрастиям. Но едва ли факт пересечения демократией какой-то границы когда-либо означал именно это. Подобно автокра-

7. В: *Daragahi B. Revolutionary Ideals Fade as Egypt Decides // Financial Times*. 7 June 2012. В статье цитируется Вафаа Хассанин, 47-летняя женщина, торгующая хлебом на улицах Каира, чей ежедневный доход сократился почти вдвое со времени свержения Мубарака: «Революция — это здорово, но только первые восемнадцать дней. Потом это уже не революция. Это хаос».

8. *Locke J. Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1960; *Локк Дж.* Второй трактат о правлении // *Локк Дж.* Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 291.

ПРИЗНАТЬ ДЕЗОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ДЕМОКРАТИИ

тии, демократия — категория, приспособливающаяся к конкретному месту.

Большинству из нас проще признать трудности взаимопонимания, когда нас пытаются понять другие, а не когда мы сами силимся понять их. Когда китайские власти впервые попытались разобраться в природе американского режима, как показывает Сюн Юэчжи, они, естественно, отталкивались не от идеи демократии⁹. Они начали с вопроса о том, что находится на вершине американского государства: с того факта, что у американцев нет монарха и они обходятся предводителем. Как сообщил в докладе императорскому суду в 1817 году генерал-губернатор провинции Лян-Гуан (ныне Гуандун-Гуанси), после того как американцы провозили контрабандой опиум на своих судах:

Эти варвары не имеют никакого монарха, только предводителей. Племя публично выбирает нескольких человек, которые служат, сменяя друг друга, согласно брошенному жребию, по четыре года каждый. Коммерческими делами занимаются независимые частные индивиды, которых не контролирует и не делегирует вождь¹⁰.

Два десятилетия спустя, в анонимной статье о Соединенных Штатах Северной Америки в издававшемся миссионерами *Eastern Western Monthly Magazine* автор сообщал, что «народ сам управляет страной, и раз в три года выбирает предводителя, чтобы он занимался государственными делами»¹¹. На следующий год в более пространной

9. Xiong Yu. Difficulties in Comprehension and Difficulties in Expression: Interpreting American Democracy in the Late Qing // *Late Imperial China*. 2002. Vol. 23. No. 1. P. 1–27.

10. Ibid. P. 1–2.

11. Ibid. P. 3.

статье в том же издании снова сообщалось, что американцы не ставят короля во главе своей страны. Вместо этого они:

Выбирали президента (tongling), вице-президента (fu tongling) и других официальных лиц на четырехлетний срок. Президент должен внимательно прислушиваться к желаниям народа и иметь глубокое понимание искусства управления государством, чтобы обеспечивать доброжелательное правление. Таким образом, управление всем государством вращается вокруг одной-единственной оси: главный руководитель осуществляет контроль над подчиненными чиновниками — и управляет знатью страны, поддерживает порядок в различных делах страны — и усмиряет простолюдинов¹².

Общая картина в некоторых моментах пересекалась с картиной, нарисованной Джорджем Вашингтоном, но к 1838 году это был сугубо китайский взгляд на то, чем стал американский политический процесс: поддержание порядка в делах государства сверху путем контроля над государственными чиновниками, управление знатью и, соответственно, усмирение простого народа. Однако уже из этой статьи становится понятно, что в Америке простым людям требуется гораздо больше усмирения и они имеют гораздо большую степень надзора за своим правителем, чем простые китайцы. И преимущества, и недостатки такого устройства были вскоре признаны даже в Китае, должность президента стала, наконец, описываться на языке, отличном от того, на котором описываются выборы старосты в деревне, капитана военного судна или вожака бандитской шайки, и ей был придан подо-

12. *Xiong Yu*. Difficulties in Comprehension and Difficulties in Expression. P. 3.

бающий более почетный статус. В течение полувека заинтересованные китайцы избавились от невежества, позволявшего отождествлять выбор президента с исходом лотереи (еще более пристрастный приговор американскому подходу к управлению государственными делами, чем даже тот, который вынес Платон капризам афинян в политическом выборе, несмотря на то что жребий занимал центральное место в афинской практике политического равенства)¹³. К этому моменту китайские интерпретаторы уже могли охотно признавать значение общественного мнения в формировании инстанции американского государства. Сто семьдесят пять лет спустя многие китайцы были уже гораздо лучше осведомлены о новейшей политической истории Америки. Но сама трудность мысленного сравнения одного политического устройства с другим и суждения о том, какое лучше годится для реализации политических благ, которые вы цените, не то чтобы заметно уменьшилась со временем для китайских наблюдателей; будущий вклад демократии все еще фигурирует скорее как один из элементов этой головоломки, а не как основа для ее решения. Далеко не очевидно, что китайцы в данном случае попросту ошибаются.

Есть веские основания полагать, что пропасть между американским и китайским взглядом на политику шире, чем большинство таких пропастей, существующих между очень большими народами, осознающими, что они вместе живут в одном и том же мире в одно и то же время. Непременное условие признания размеров этой пропасти — уви-

13. *Farrar C. Taking Our Chances with the Ancient Athenians // Démocratie Athénienne — Démocratie Moderne: Tradition et Influences. Geneva: Hardt Foundation, 2010. P. 167–234.*

деть, что она — не продукт исторического везения американцев и относительного исторического невезения китайцев на протяжении большей части того времени, в течение которого существуют Соединенные Штаты, невезения, преодолеть которое удалось лишь совсем недавно. Еще меньше это продукт утонченного политического вкуса, которым счастливая история одарила нынешних граждан Америки, и несчастного, истощенного политического воображения, которым в большинстве своем приходится довольствоваться нынешним жителям Китая. Более адекватный способ смотреть на то, что породило эту пропасть, — обратить внимание на два фундаментальных и гораздо менее утешительных фактора. Прежде всего, необходимо учитывать, что китайское видение обладает значительно большей исторической глубиной и потому ему гораздо труднее придать новую политическую форму раз и навсегда. Современные историки Китая, особенно работающие в Соединенных Штатах, в ярких и живых деталях показали, как трудно было Китаю в долгом и медленном XIX столетии отказаться от династической монархии как формы правления, не поступившись при этом ни чувством общественной ценности, ни политическим смыслом¹⁴. Во-вторых, необходимо признать, сколь жалкими и неадекватными оказались западные интеллектуальные ресурсы понимания политики для Китая, когда он боролся с военным и техни-

14. *Levenson J. R. Confucian China and Its Modern Fate. London: Routledge & Kegan Paul, 1958–1965; Wright M. The Last Stand of Chinese Conservatism: The T'ung-Chi Restoration, 1862–1874. New York: Atheneum, 1966; Kuhn P. Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796–1864. Cambridge: Harvard University Press, 1970.*

ческим превосходством сначала западных держав, а затем Японии и со все более пагубным просачиванием на китайскую территорию, в экономику и образ жизни чужеродных элементов. Чтобы просто признать превосходство республики над династической монархией, нужно было превзойти себя, а, как показывает случай Франции, такое признание на раннем этапе всегда может быть пересмотрено. Найти путь, при котором на республику можно было бы опереться в борьбе с военной угрозой, внутренней или внешней, оказалось невозможно. Подчинить чиновников и регулировать знать никто практически не пытался, тем более было недостижимо установление благожелательного режима.

Когда более поздние и более амбициозные побегии западного политического мышления пришли в Китай через Россию и были должным образом приспособлены к местным условиям, судьба Китая ненамного улучшилась¹⁵. Экономические решения, рекомендованные новым правителям Китая русскими советниками, не принесли особого успеха и с тех пор были почти полностью забыты. Импровизация самих китайцев, пришедшая им на смену, за первые три десятилетия правления коммунистической партии зачастую не давала заметного улучшения и также в дальнейшем оказалась в основном забыта. Заслуги в подчинении чиновников, ограничении знати и обеспечении благожелательного правления оказались довольно разномастными и незаметными; но по-прежнему трудно списать

15. *Price D. C.* Russia and the Roots of the Chinese Revolution, 1896-1911. Cambridge: Harvard University Press, 1974; *Meisner M. J.* Li Ta-Chao and the Origins of Chinese Marxism. Cambridge: Harvard University Press, 1967.

самые обескураживающие элементы на пренебрежение ясными понятиями или надежными средствами европейского или американского происхождения, позволяющими структурировать власть, применять ее с благой целью, тем более обеспечить ее благоприятные последствия для подавляющего большинства населения Китая.

Но выдающееся экономическое преобразование Китая за последние три десятилетия было не просто счастливым стечением обстоятельств. Ни долгая история Китая, ни прозорливость накопленной на Западе мудрости не научили китайских правителей делать то, что они в действительности сделали. Под жесточайшим давлением и с замечательной смелостью и выдержкой они нашли решение самостоятельно. Они установили и поддерживали строй, при котором миллионы людей с головокружительной скоростью заново преобразовали экономический пейзаж и направили мировую экономику в новом направлении. Никто не знает, как долго это преобразование будет продолжаться с нынешней скоростью или насколько можно надеяться возместить сопутствующий ущерб, который оно наносило на протяжении всего времени. Но это преобразование произошло. И возможным его сделали политический выбор и усилия политического органа, который до сих пор управляет Китаем. Конечно, у этого органа нет откровенного или убедительного ответа на вопрос о том, почему он должен править Китаем или откуда возьмутся разумные основания ожидать, что его правление будет благоприятным в обозримом будущем. Что у него есть на данный момент — так это «Мандат Небес».

В чем-то — и это нынешние лидеры Китая время от времени признают — правление этого органа было отнюдь не благоприятным, но в большинстве

случаев они по понятным причинам предпочитают не замечать его недостатков. Однако народу Китая нужно, чтобы Китаем управляли; и подобно всем остальным народам, он не может каждый раз привередничать в отношении структур, через которые он управляется или будет управляться в ближайшем будущем. Возможность, которая есть у народа Америки и которой полностью лишен народ Китая, — это возможность через заданные промежутки времени выбирать большинство членов верхних эшелонов власти и, самое удивительное, выбирать человека, находящегося на самом вершине. В отличие от императора, которого теоретически выбрали высшие силы, народ Америки может сам выбирать своего предводителя (или, как это должно рано или поздно произойти, свою предводительницу). Несмотря на все раздражение и разочарование, которыми она окружена, эта опция до сих пор занимает центральное место в американском понимании демократии и сохраняет мимолетную привлекательность.

Привлекает в ней не столько предсказуемый выигрыш (индивидуальный или коллективный) от последствий ее применения, сколько непосредственность самого выбора. Есть все основания полагать, что гражданам Китая понравилось бы использовать эту опцию ничуть не меньше, чем любым другим гражданам. Но в долгой предшествующей истории Китая нет ничего, что позволяло бы им полагать, что осуществление этого выбора окажется хорошим рецептом для того, чтобы выбранный предводитель изменил инстанцию государства в Китае к лучшему. Когда китайцы пытались разобраться в американском подходе в самом начале XIX века, некоторые думали, что Джордж Вашингтон выглядит неплохой заменой для им-

ператора. Но с тех пор прошло много времени; и злоключения последних президентов не могут и не должны указывать на аналогичную способность наводить порядок в бурных политических процессах в Америке. Оставить выбор предводителя прозорливости народа — не та стратегия, которая может легко зарекомендовать себя в Пекине. Это не может естественным и практическим образом следовать из тысячелетней политической истории Китая или из его интеллектуальной истории, на которую она наложила такой глубокий отпечаток.

Последний пункт следует подчеркнуть особо, потому что политическое взаимопонимание между политическими элитами Америки и Китая сегодня играет такую важную роль. Чтобы оценить, что это сейчас означает, полезно сравнить недоумение Америки по отношению к Китаю с вызовом, который бросает взаимной политической интеллигентности другое великое азиатское государство, Республика Индия. Если сегодня в мире и есть демократии, если термин *демократия* вообще применим к какому-либо существующему государству, Республика Индия на данный момент — самая большая демократия из всех когда-либо существовавших. Она также во многих отношениях самая удивительная из них: из-за своих размеров, из-за того, что все еще сохраняется среди огромного и, почти на всем протяжении ее существования, в основном нищего населения, и из-за эластичной прочности, с которой она выдерживает ожесточенное центробежное давление и высокий уровень насилия, коррупции и угнетения людей на протяжении всей своей истории.

Каким образом она до сих пор сохранилась как постоянная правовая, политическая, организаци-

онная и культурная структура? Почему до сих пор покрывает такую огромную территорию и продолжает вмещать в себя гигантское население, которое все еще живет здесь? Почему до сих пор так высоко ценится многими ее гражданами, и теми, кто живет в нищете, и теми, кто имеет завидное состояние¹⁶, несмотря на уровень коррупции среди политического класса, который сегодня может быть даже выше, чем был при ее основании¹⁷, и, несмотря на уровень насилия, глубоко пронизывающего ее социальные и религиозные отношения, которое не удалось искоренить даже за шесть десятилетий целенаправленно боровшегося с ним конституционного правления и с помощью целого ряда изошренных программ законодательных, экономических и социальных реформ? Трудно переоценить важность того факта, что она до сих пор существует. Также трудно представить себе, каково было бы будущее демократии, если бы республика продолжила распадаться после первоначального

16. *Stepan A., Linz J. J., Yadav Y.* Democracy in Multinational Societies: India and the Other Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010; *Yadav Y.* Democracy and Poverty in India // *Deb Sh.M., Manisha M.* Indian Democracy: Problems and Prospects. New Delhi: Anthem Press, 2009; *Banerjee M.* Sacred Elections // Economic and Political Weekly (India). 28 April 2007. Vol. 42. No. 17. P. 1556–1562.

17. См. обзорный взгляд в: *Visvanathan Sh., Harsh S.* Foul Play: Chronicles of Corruption, 1947–1997. New Delhi: Banyan Books, 1998. *Brass P.* Theft of an Idol: Text and Context in the Representation of Collective Violence. Princeton: Princeton University Press, 1997. Более подробно см.: *Wade R.* The system of Administrative and Political Corruption: Canal Irrigation in South India // *Journal of Development Studies*. 1982. No. 18. P. 287–328; *Parry J.* The «Crisis of Corruption» and the «Idea of India: a Worm's Eye View» // *The Morals of Legitimacy Between Agency and System*. Oxford, UK: Berghahn Books, 2000. P. 27–56.

разделения Британской Индийской империи (раздела Индии) или даже если бы остатки этой империи со временем пошли по пути Пакистана. Сам факт этого выживания ясно показал две вещи: необыкновенную абсорбирующую способность демократии как политической категории и ее крайне ограниченную способность устанавливать порядок среди хаоса, а также слабое желание хотя бы попытаться это сделать. Если в тернистом пути Индии и есть что-то вдохновляющее, как оно, без сомнения, есть, то точно так же в нем есть и нечто сдерживающее: возвышенный романтизм вместе с грубым реализмом. На данный момент лучшее изображение этого пути, сбалансированно сочетающее в себе романтизм и реализм, дано в замечательно щедрой и бескомпромиссной «Индии после Ганди» Рамачандры Гухи.

Индии удастся оставаться республикой на протяжении более чем шести десятилетий благодаря особенностям наследия, доставшегося ей от британского правления и от ее длительной и упорной борьбы с ним¹⁸. Основное наследие имперского правления было более или менее общим для двух государств, первоначально ставших ее приемниками, но наследие борьбы с этим правлением было распределено отнюдь не так симметрично. Поэтому велик соблазн, особенно для индусов, связать расхождение в судьбах демократии в этих двух государствах с более слабыми политически-

18. Bayly C. A. *Recovering Liberties: Indian Thought in the Age of Liberalism and Empire*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012; Gilmartin D. *Towards the Global History of Voting: Sovereignty, the Diffusion of Ideas, and the Enchanted Individual // Religions*. 2012. No. 3. P. 407–433; Kaviraj S. *The Enchantment of Democracy and India*. Ranikhet. India: Permanent Black, 2011.

ми ресурсами Всеиндийской мусульманской лиги и с общими националистическими достижениями Индийского национального конгресса и его выдающихся лидеров, в частности Мохандаса Ганди, Джавахарлала Неру и Валлабхаи Пателя. Заслуги последующих индийских политических лидеров были менее однозначными и не столь выдающимися, хотя время от времени они, конечно, включали в себя значительные личные достижения, и по крайней мере один из них, к счастью или к несчастью, оказался видным политическим деятелем. Но преимущество, которое дает ретроспективный взгляд, позволяет увидеть, насколько Индии повезло с ее основателями¹⁹, с силой воображения и энергией, которую Ганди вдохнул в борьбу нескольких миллионов людей за национальную независимость, прежде чем эта независимость была завоевана²⁰, с прозорливостью, терпением и политическим мужеством Неру при выработке определения суверенной независимости, когда он стал продолжателем дела Ганди²¹, и с огромным поли-

19. *Guha R. Makers of Modern India. Cambridge: Harvard University Press, 2009.*

20. *Parel A. Gandhi's Philosophy and the Quest for Harmony. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Parekh B. C. Gandhi's Political Philosophy: Political Examination. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1989; Brown J. M. Gandhi and Civil Disobedience: The Mahatma in Indian Politics, 1929–1934. Cambridge: Cambridge University Press, 1977; Gandhi's Rise to Power: Indian Politics, 1915–1922. Cambridge: Cambridge University Press, 1972; Anderson P. Gandhi Centre Stage // London Review of Books. July 2012. Vol. 34. No. 13. P. 3–11.*

21. *Khilnani S. The Idea of India. London: Hamish Hamilton, 1997; Khilnani S. Nehru's Judgment // Political Judgment. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 254–277; Gopal S. Jawaharlal Nehru: A Biography. Cambridge: Harvard University Press, 1976–1984.*

тическим реализмом и здравым смыслом Пателя, когда настало время их проявить. Это был великий политический подвиг — превратить разрозненный палимпсест империи в единое территориальное государство, относительно твердо контролирующее, на протяжении большей части ее последующей истории, свои границы, которые так часто оказывались крайне уязвимыми как снаружи, так и изнутри. Великий политический подвиг — воссоздать хотя бы подобие гражданского порядка на большей части территории на фоне мрачных и кровавых последствий Раздела и снова и снова восстанавливать его в течение десятилетий ожесточенных экономических конфликтов, конфликтов между кастами и общинами, возникавшими в самых разных обстоятельствах. Нет какой-то исключительной причины, по которой Индия не должна была бесконечно распадаться, как это еще может произойти с Пакистаном и как это начало происходить десятки лет назад при создании Бангладеш.

Причина, из-за которой Индия не пошла по этому пути, до сегодняшнего дня не ясна. Отчасти это, конечно, следствие размеров и характера индийской армии и гордости, которую она старательно сохраняла, вопреки всем личным соблазнам, ставя конституционную целостность государства выше удовлетворения индивидуальных амбиций и корпоративного карьеризма. Отчасти это было плодом поразительных административных способностей индийского государства, которые, несмотря на всю бюрократическую неуклюжесть и скованность этого государства и непостоянство в отношении к своим законным обязанностям, особенно ярко проявились в удивительной сложности и педантизме его электоральных ритуалов и в уникальном политическом статусе их знакового институ-

та, Избирательной комиссии Индии. Конечно же, в какой-то мере это продукт глубоко продуманной политической конструкции, воплотившейся в создании конституции²², и того отпечатка, который она наложила на непрекращающийся проект верховенства закона, который мог бы быть легко и безвозвратно опорочен в силу своего имперского происхождения или из-за того, что им сумело воспользоваться в своих интересах какое-то руководящее лицо, испытывающее затруднения или присвоившее его.

В Республике Индия эти ресурсы, как ни удивительно, работали в основном вместе, а не друг против друга, как могли бы и как это время от времени с ними случалось. Были времена, когда было очень опасно позволить им работать — особенно в чрезвычайной ситуации при Индире Ганди, но также в самом начале Раздела Индии, затем снова и снова в Джамму и Кашмире, во время травматических событий в Амритсаре, в связи с ядом, распространяющимся из Айодхья, бесконечными злключениями Бихара и злополучных отсталых сельских регионов, которые в дальнейшем переняли его роль, и бесчинствами националистов в Мумбаи и Гуджарате.

Вы можете задаться вопросом о том, были ли их последствия благотворными: спросить, насколько они работали во благо значительной доли индийского населения в любой исторический момент, а также спросить, как можно спросить в любой капиталистической демократии, насколько выгоды,

22. *Austin G. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation.* Oxford: Oxford University Press, 1999; *Austin G. Working a Democratic Constitution: The Indian Experience.* Oxford: Oxford University Press, 1999.

полученные широкими слоями населения от работы этих ресурсов, возросли или уменьшились за счет действия специфических для Индии демократических институтов. Если бы последние работали гораздо хуже, было бы разумно предположить, что это могло в значительной мере подорвать привлекательность этих институтов, и, без сомнения, если бы последствия их работы больше способствовали росту благосостояния и улучшению уровня жизни подавляющего большинства, это, в свою очередь, помогло бы демократии как политическому принципу снискать расположение большего числа граждан Индии. Но если бы вы захотели систематически отследить, как накапливались эти последствия на самом деле, их чистый эффект было бы трудно разглядеть. Еще в период своего расцвета в Афинах, у демократии было больше чутка и духа, когда дело касалось распределения, а не производства. Некоторые из преимуществ, получаемых при распределении бедняками в данных условиях, безусловно, восходят к демократическим переговорам внутри индийских политических институтов и к четко поставленным исправительным целям. В этом отношении трудно себе представить какие-то более убедительные оправдания для демократических институтов. Долгая и медленная борьба с историческим угнетением низших каст, неприкасаемых и племен, за которой стоял духовный авторитет Ганди, и определяющее влияние Б. Р. Амbedкара благодаря написанию им конституции и длинной политической карьере, двигателем которой она стала, конечно же, породили свои аномалии, но в то же время это был один из самых целеустремленных и восхитительных проектов по исправлению огромной исторической несправедливости, какие только встречались в истории

человечества. Здесь тоже демократия взяла на себя изрядную долю бремени, и едва ли Индии как очагу цивилизации (а еще меньше Британской империи) делает честь то, что новой республике досталось так много несправедливостей, которые нужно исправлять, но тем не менее трудно вообразить какой-то другой результат действующей демократии, который делал бы ей большую честь.

Несмотря на все крайне неприятные страшилки, которые их искажают, заслуги индийской демократии в целом являются уникальным по своим масштабам политическим достижением, уже оказавшим огромное воздействие на политическое воображение других стран и способным оказать еще большее воздействие в будущем. Если же мы зададимся вопросом, почему это достижение было осуществлено, помимо исторического наследия, сделавшего его возможным, и широкого ряда политических мер, которые позволили его осуществить и гарантировать, останется кое-что еще, что занимает центральное место в изучаемой мною теме: особая приверженность Индии к демократии как категории, и богатый и разнородный потенциал, который индусам удалось извлечь из романа с демократией и из ее исследования.

Эта тема должна вызвать особый отклик у американской аудитории, как потому, что она позволяет расширить свою воображаемую симпатию, так и потому, что становится поучительным дополнением к собственному роману и исследованию Америкой этой категории, хотя оно и носило совершенно иной характер. История об Индии до сих пор рассказывалась еще более путано, чем американская, хотя и по несколько иным причинам. Но этому затянувшемуся невниманию вовне и отчасти даже внутри самой Индии пришел конец,

и история индийской политической мысли начиная с XX столетия рассказывается с растущей уверенностью и знанием дела, как история накопленного политического опыта и даже политического знания. Ее еще предстоит дополнить пониманием долгого интеллектуального прошлого Индии, накопленных ею богатств, в особенности ученых трудов, написанных на классическом санскрите и на множестве диалектов по всему субконтиненту²³. Но со временем она будет дополнена; а когда это произойдет, не будет никаких причин для того, чтобы политический опыт Индии казался (и воспринимался) более беспорядочным, чем политический опыт Америки или Франции, Британии или Германии, Японии или даже, осмелимся сказать, Китая. И в индийском политическом опыте, как бы к тому времени ни обстояли дела в Японии или Китае или даже Германии или Британии, чей опыт вовсе не кажется образцовым, демократия почти наверняка станет главной категорией. Дело не только в том, что каждый раз, когда в Индии проходят общенациональные выборы, они становятся самыми большими демократическими выборами; но и в том, что индийской демократии еще предстоит пережить величайшие приключения, какие только могут выпасть на долю этой очень непрозрачной категории.

Вы можете рассматривать эти приключения с нескольких различных точек зрения — как минимум с интеллектуальной, организационной, эври-

23. *Pollock Sh.* The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India. Berkley: University of California Press, 2006; *Ocko J. K., Gilmartin D.* State, Sovereignty, and the People: A Comparison of the 'rule of Law' in China and India // *Journal of Asian Studies*. 2009. Vol. 68. No. 1. P. 55–100.

ПРИЗНАТЬ ДЕЗОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ДЕМОКРАТИИ

стической, а также с точки зрения принуждения. Чтобы отдать должное, вам следует хотя бы попытаться взглянуть на это приключение с каждой из этих перспектив, а потом соединить эти траектории друг с другом. Это особенно важно, если вы хотите вычленить ваше собственное понимание демократии из той неизбежно местнической рамки, в которой оно у вас сформировалось. На Индийском субконтиненте и в особенности в самой Индии с момента получения независимости больше мужчин и женщин смотрелось в зеркало демократии и силилось понять, что они там видят, чем где-либо еще. Да, сначала они делали это в более скромных масштабах, чем эмигрантское население Соединенных Штатов на протяжении двух или трех столетий. Можно сказать наверняка, что термин *демократия* появился в Индии не раньше XVIII века. Но по-прежнему остается очень важный вопрос о том, насколько глубоко идея и практика демократии проникла в ткань индийского общества и в работу воображения индусов, начиная с тех времен, когда эта категория может быть достоверно зафиксирована в любом европейском обществе, или даже раньше. Размышления о том, как это незапамятное, но оставшееся в тени присутствие соотносится, формирует и определяет судьбу и способности Индии как независимого государства, занимали центральное место в суждениях и пристрастиях националистического движения еще в начале XX века. Этот вопрос хотя и смутно, но продолжает сохранять свое значение и сегодня, когда все общество обращает свой взгляд в будущее.

Вы можете рассматривать присутствие демократии в Индии сегодня как ее нынешнюю форму государственности. Но вы также можете с большей симпатией, как это сегодня делают столь многие

индусы, посмотреть на нее как на набор искусно разбросанных по социальному ландшафту практик, которые образуют гражданское общество Индии на всех уровнях, от деревней до политических или деловых столиц, и постоянно вмешиваются в отношения между государством и отдельными гражданами, борясь за то, чтобы смягчить давление, оказываемое на тех, кто обделен возможностью себя защитить, и поддерживая тех, кто находится в самой крайней нужде (а также, без сомнения, преследуя целый ряд иных, не столь благородных целей). Обитателям обеих этих сред — и власти предрешающим, и активистам — легко рассматривать свои взаимоотношения как игру с нулевой суммой, непрекращающуюся борьбу за господство. Но такой взгляд на эти отношения ставит под вопрос смысл демократии как слова и как идеи. В каждой из сред и с каждой из точек зрения демос (или та группа, которая страстно идентифицируется с его интересами, а следовательно и с ним самим) судит или действует наилучшим из возможных образом от своего лица и своей собственной властью. Ни один из тех, кто осуждает то, что они решают сделать, не будет относиться к этому более снисходительно ввиду ссылок на эту власть. Но какие бы возможности для самообмана ни предоставляла категория демократии и для каких бы злоупотреблений ее цинично ни приспособляли, невозможно всерьез отрицать, что она открыта для обеих интерпретаций и что нечто важное, касающееся нормативного и политического значения, представлено в каждой из интерпретаций. Злоупотребление политической категорией никогда не лишает ее действенной силы. Нет таких политических концепций или категорий, наделенных этой силой, которыми нельзя было бы в более или менее гру-

бой форме злоупотребить. Один из уроков демократии, которые нам необходимо поскорее усвоить, состоит в том, как легко и безболезненно ею можно злоупотреблять и сколь противоречивым может оказаться даже самое адекватное ее употребление. Вот почему опыт демократии всегда оказывался таким сложным и почему любой, кто надеется ясно разглядеть политику демократической структуры, должен научиться смотреть поверх самой этой категории.

Если смотреть на приключения демократии в Индии как на очень насыщенный этап в ее интеллектуальной истории, следует обратить внимание на несколько разнородных закономерностей, и, когда вы двигаетесь к настоящему моменту и за его пределы, картина становится все более пестрой. Образцовое освещение двух таких закономерностей дано в работах Каруны Мантены и в особенности в ее превосходном исследовании «Алиби для империи». Первая закономерность, врожденное противоречие либерального империализма, берет свое начало из западного вторжения — предположительного лекарства для крайне непривлекательного образа беззастенчиво долиберального империализма, на который отбрасывал длинную тень Уоррен Гастингс, или хотя бы для отголосков его правления, которые через Эдмунда Берка унаследовал британский политический класс. Либеральный империализм на всем протяжении своего существования был скорее проектом, чем достоверным историческим описанием практики государственного управления: имперское правление рассматривалось в качестве услуги тем, кто его получает, — гуманитарной помощи на протяжении очень долгого периода времени. Самый яркий его представитель, Джон Стюарт Милль, классический теоретик де-

мократии как проекта коллективного самовоспитания для тех, кого он считал к этому готовым, твердо отрицал пригодность демократии для до-хабермасовского социального времени, как он сам его определял: «Любое положение вещей, предшествующее тому времени, когда человечество получает способность к совершенствованию с помощью свободной и равной дискуссии»²⁴. Он твердо основывал свой анализ на контрасте между цивилизацией и варварством, определяя первую как «людей, действующих сообща большими группами ради достижения общих целей»²⁵ и в полной мере способных к взаимному обмену, а значит и к тому, чтобы следовать правилам, а второе — как то, что резко переворачивает оценки и потому требует «прямого подчинения более развитым»²⁶. Сам Милль ничуть не сомневался в качестве своего интеллектуального и политического суждения, видя «главный пункт превосходства современных политических теорий» в принятии того, что институты управления населением «должны быть совершенно разными в зависимости от достигнутой ступени развития»²⁷, и следуя в этом примеру своего отца, утверждавшего, что «ни одна форма правления, не может успешно привести к исполнению цели этого правления, если она не будет приспособлена к состоянию людей, для которых она предназначена»²⁸.

24. *Mill J.S. On Liberty // Mill J.S. Collected Works of John Stuart Mill. Toronto: Toronto University Press, 1963–1997. Vol. 18. P. 224.*

25. *Ibid. P. 120.*

26. *Mill J.S. Considerations on Representative Government // Mill J.S. Collected Works. Vol. 19. P. 395.*

27. *Ibid. P. 393–394.*

28. *Mill J.S. The History of British India. Indianapolis: Liberty Fund, 1990. Vol. 1. P. 456.*

Сегодня легко посмеяться над снисходительностью Милля к имперскому элементу того образа жизни, который выбрали для себя он и его отец. Также не может не радовать то, как безжалостно пригвоздил его к позорному столбу Джеймс Фитц-Джеймс Стэфен за его видение Британской Индийской империи, якобы основанной на «моральном обязательстве британской нации постараться просветить туземцев таким образом, чтобы привести их к демократической форме правления, осуществляемой представительными институтами», и нельзя не солидаризироваться с его замечанием о том, что, если что-то было хорошо для Карла Великого и Акбара в их откровенно силовом вмешательстве в дела отстающих в развитии обществ, то почему бы это не перенести на отношения между образованными и необразованными классами дома в Британии?²⁹

Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы едва ли оставили дилеммы либерального империализма в прошлом; и если мы теперь избегаем открыто использовать критерий развитости или неразвитости, мы испытываем острую нужду в менее пренебрежительной и менее покровительственной замене для его сугубо прагматического аналога. Каких ярких и недвусмысленных успехов мы добились в выработке способов, позволяющих несостоятельным государствам преуспевать или заставляющих государства, у которых нет либо возможности, либо склонности цивилизовать своих граждан, заниматься этим непростым делом? Насколько наша собственная теория того, как сделать мир цивили-

29. *Mantena K. Alibis of Empire*. Princeton: Princeton University Press, 2009. P. 316; *Stephen J. F. Liberty, Equality, Fraternity*, Indianapolis: Liberty Fund, 1993. P. 68–69.

зованным, превосходит теорию Милля в способности дать твердое направление? Этот вопрос особенно важно зафиксировать, поскольку, несмотря на несистематический характер и насмешки Стэфена, есть четкое ощущение того, что ко времени независимости британская администрация в Индии помогла достаточному количеству индусов просветиться, так что потом они смогли установить именно «демократическую форму правления, осуществляемую демократическими институтами». Эта форма правления до сих пор сохранилась; это был ясный выбор, ставший итогом основного направления развития индийского национального движения; и, несмотря на широкие дискуссии и зачастую ожесточенные конфликты, индусы повторяли этот выбор в течение весьма длительного времени. Это третья закономерность в интеллектуальной истории, которую вам нужно проследить, чтобы в полной мере понять степень влияния демократии на Индию. Как я уже говорил, это событие оказалось наиболее исторически важным. Даже с точки зрения тех преимуществ, которые дает ретроспективный взгляд, этот выбор до сих пор представляется важнейшим политическим ресурсом Индии, сыгравшим ключевую роль в установлении и сохранении самой удивительной демократии на свете.

До сих пор Мантена в своих исследованиях сосредоточивалась главным образом на второй закономерности³⁰. Она начинает с глубокой интеллектуальной реакции на точку зрения Джона Стюарта Милля, ставшую ответом на страх, вызванный очевидной слабостью имперского правления после восстания 1857 года, тем, что оказанная услуга не признана в качестве таковой ее получателями. Эта ре-

30. *Mantena K. Alibis of Empire.*

акция была связана с интеллектуальными работами сэра Генри Мэйна, который нашел новую форму для Индии — вице-короля — и тем самым помог существенно трансформировать утонченное европейское понимание того, что такое на самом деле общество. Он сосредоточился на бесчисленных индийских деревнях и на том, что их поддерживало, увидел в их осаждаемой со всех сторон остаточной автономии сбалансированное сочетание обещания и угрозы и вызвался быть проводником для своих имперских коллег в решении задачи по исполнению этого обещания и сдерживанию угрозы.

Трогательным образом, и по до сих пор непонятным нам причинам, переориентация имперского мышления, совершённая Мэйном, вошла в сложный резонанс с европейскими (а со временем и с американскими) усилиями по переосмыслению современного государства как сложной и чересчур самоуверенной сверх-тотальности, которая вполне заслуженно имеет только лишь ограниченный контроль над быстро растущим числом субинститутов, многие из которых гораздо старше этого государства и имеют более радужные перспективы сохраниться в будущем, по мнению тех, кто с ними связан. Европейское крыло этого движения, называемого плюрализмом, ведет свое начало не от Мэйна. Оно пришло и преимущественно схлынуло, хотя с недавних пор и начинает просачиваться обратно. Его американское крыло никогда не сталкивалось с таким уровнем сопротивления со стороны приверженцев или будущих функционеров государства и на протяжении всего времени сохраняло вполне стабильное присутствие³¹.

31. *Kloppenberг J. T. Uncertain Victory: Social Democracy and Progressivism in European and American Thought, 1870–1920.*

Но в самой Индии плюрализм, будучи прямым ответом Мэйну и реакцией на многие из реалий индийского общества, сыграл драматическую роль в формировании течения свадеши в националистическом движении, вдохновил совершенно особый взгляд на реалии и возможности Индии — взгляд, устремленный к тому, чтобы вернуть власть, инициативу и социальную надежду из государственных центров обратно в деревни, — породил одни из самых поразительных моментов в современной интеллектуальной истории Индии, от социологической школы Радхакамала Мукерджи и его исследования по сравнительной политологии «Демократии Востока» до завораживающей фигуры Махатмы Ганди и великих приверженцев гражданского общества в Индии, с 1949 года и до сегодняшнего дня переживающего неослабевающий рост. Плюрализм также скрестил индийскую политику со всеми сложностями древнего религиозного наследия страны, более многообразным и перспективным образом, чем легионы выборных политиков, спекулировавших на обещании сделать это, как только они доберутся до распределения государственных должностей.

Нельзя сказать, что это замечательное вдохновение когда-либо по-настоящему овладевало своим самым закоренелым и порой самым непосредственным врагом, индийским государством. Но это была победа, исключенная с самого начала. Хотя это вдохновение едва ли могут ждать более благоприятные условия в ближайшем будущем, когда темпы экономического развития Индии наконец

Oxford: Oxford University Press, 1988; *Festenstein M. Pragmatism and Political Theory*. Cambridge U. K.: Polity Press, 1997.

ускорятся, а ее капиталисты начнут играть еще более заметную роль, сегодня по крайней мере ясно, что оно слишком глубоко проникло в индийское общество и слишком сконцентрировалось в нем, чтобы его голос мог просто так затихнуть.

Масштаб влияния демократии на Индию ставит неотложные вопросы и перед самими индусами, и перед всеми остальными. Для индусов самый главный вопрос, каким окажется это воздействие в конечном итоге. Для всех нас ключевой вопрос — что оно говорит о политических свойствах демократии как категории и о ее способности к выживанию и укоренению в различных средах, а затем и к направлению политической энергии их обитателей в лучшую сторону. Мы лучше сможем судить об ответах на оба этих вопроса, если спросим, что демократия сделала и что она означала для самих индусов. Здесь есть очень четкие критерии. Насколько она помогала или мешала им в их индивидуальном или коллективном стремлении к благосостоянию и власти? Насколько успешно способствовала примирению общества, в котором каждый взрослый член считается имеющим полное право рассуждать и действовать политически, с невероятной несправедливостью его прошлого и помогла ли превратить образцовые иерархии каст и глубокие пропасти классов в общество по-настоящему равноправных людей?³² Насколько хорошо, обращаясь к этим насущным (и якобы фантастическим) целям, она подгото-

32. Adiga A. *The White Tiger*. London: Atlantic Books, 2008. Более резкий и неприукрашенный рассказ, в котором акцент делается на сопротивлении некоторых страдальцев, см. в: Boo K. *Behind the Beautiful Forevers*. London: Portobello Books, 2012.

НЕ ОЧАРОВЫВАТЬСЯ ДЕМОКРАТИЕЙ

вила граждан Индии к тому, чтобы распознавать и отвечать на все более острую потребность в сохранении и восстановлении пригодной для жизни среды обитания? Насколько прочно и надежно соединила вместе эти задачи, чтобы ни одна из них не потерялась из виду или не понесла непоправимый ущерб из-за того, что приоритет был отдан другой? Была ли индийская демократия по этим меркам хорошей идеей или же она оказалась очень плохой идеей?

Найти свои ориентиры: фатальность, выбор и понимание

ЕСЛИ демократия, как мы ее в настоящий момент понимаем, достоверно прояснила бы варианты политического выбора и тем самым дала бы людям надежные средства для того, чтобы сориентироваться в реальной экзистенциальной и биологической среде своей жизни, сегодня, по прошествии более чем шести десятилетий, мы бы знали, оказалась ли индийская демократия хорошей идеей или очень плохой идеей. И даже если бы многим иностранцам по той или иной причине по-прежнему было трудно понять ответ на этот вопрос, мы были бы совершенно уверены, что большинство населения Индии знает этот ответ. Как оказалось, сегодня имеются на удивление веские основания полагать, что так оно и есть и что этот ответ — положительный, хотя, может быть, и не столь выразительный¹.

Некоторые недостатки индийской демократии были вполне очевидны: слишком поспешное и легкое введение чрезвычайного положения при Индире Ганди; продолжающееся ухудшение условий жизни и обращения с широкими слоями непри-

1. *Yadav Yo.* Democracy and Poverty in India // *Indian Democracy: Problems and Prospects.* New Delhi: Anthem Press, 2009; *Banerjee M.* Sacred Elections // *Economic and Political Weekly (India).* 28 April 2007. Vol. 42. No. 17. P. 1556-1562.

касаемых и членов племен; откровенно циничный принцип «ты — мне, я — тебе», господствующий в рутинной политике; ужасающая коррупция государственного аппарата, в который по многим каналам легко могут проникнуть злотворные силы, умы и инициативы; явный упадок интеллектуальных и моральных качеств индийского политического класса и широкое распространение в нем преступных деяний (столь противоречащее предпосылкам конституционной демократии); жестокость индийской полиции и военной практики подавления местных волнений; крайне ограниченная способность государства контролировать себя².

Неудивительно, что недостатки индийской демократии легко можно распознать как изнутри самой Индии, так и снаружи. Но если смотреть изнутри, они незаметно сливаются с самой сущностью Индии, как того и требует в конечном счете идея демократии, если она не хочет быть карикатурой. Демократия могла быть хорошей или плохой идеей для Индии, когда та завоевала независимость. Но сама по себе Индия не была ни хорошей, ни плохой идеей. (На сегодняшний день невозможно с уверенностью сказать то же самое о Пакистане, который в тот момент был вполне определенной идеей, с тех пор изрядно поизносившейся.) В данный момент невозможно четко сказать, является ли Индия идеей вообще. Скорее, подобно любому другому обществу, она была палимпсестом исторических достижений, неудач

2. *Manor J. Power, Poverty and Poison: Disaster and Response in an Indian City.* Delhi: Sage Publications, 1993; *Hansen T. B. Wages of Violence: Naming and Identity in Postcolonial Bombay.* Princeton: Princeton University Press, 2001; *Tarlo E. Unsettling Memories: Narratives of the Emergency in Delhi.* London: Hurst, 2003.

и неурядиц и невообразимых человеческих затруднений. Среди вопросов, которые стояли перед ней на тот момент, был вопрос о том, становится ли ей конституционной демократией. Именно из последующей судьбы ее ответа на этот вопрос мир в целом может узнать нечто новое и потенциально драматическое о том, что подразумевает и чего не подразумевает демократия.

Кое-что из того, что мир может узнать на примере Индии за этот промежуток времени, он прекрасно может узнать и на примере кого-нибудь еще. Из долгого опыта представительных демократий, существующих в капиталистической среде, легко можно сделать вывод, что формальное политическое равенство, которое обещает и стремится гарантировать демократия, вполне совместимо с укоренившимся катастрофическим неравенством и несправедливостью. Но даже тот, кто привык к их масштабам в своем собственном обществе, может быть шокирован разнообразием и экстремальностью индийских вариаций на эту давнюю человеческую тему. Еще более интересным представляется то, что работа конституционной демократии на протяжении многих десятилетий может стать мягким и эффективным болеутоляющим средством даже для огромной и исторически укоренившейся несправедливости. Что еще важнее, вы можете узнать, что долгое, медлительное, сумбурное и неуклюжее признание и исправление огромной исторической несправедливости — гораздо лучшая альтернатива, чем попытки прямого искоренения несправедливости, такие, например, как массовые убийства красных кхмеров (этот урок до сих пор актуален для большей части сельской местности в Индии). Из того же самого опыта можно извлечь и более позитивные и оптимисти-

ческие выводы. Хотя демократия, скорее всего, никогда не сможет искоренить неравенство и явную несправедливость капиталистического мира, которому у нас нет разумной альтернативы, нам теперь известно, что ее можно установить и долгое время поддерживать, при счастливом стечении исторических обстоятельств, в больших и достаточно бедных обществах. Насколько показывают масштабы нынешней проверки политических идей, демократия возможна и при крайней нищете.

Более того, как только демократия установлена и до тех пор, пока она будет поддерживаться, как уже давным-давно показал Амартия Сен³, она может избавить людей от тысячелетней зловещей угрозы неурожая и массового голода из-за неправильного распределения имеющихся продовольственных ресурсов. Ни в одном демократическом государстве не может быть того, что было в Бенгалии в первой половине XX века, в Ирландии — столетием раньше, а в Китае случилось с миллионами граждан уже после получения Индией независимости⁴. Нам не следует преувеличивать масштабы или неопровержимость этого открытия. Неясно, насколько этот факт опирается на структуру самой политической власти, а насколько стал результатом независимости индийской печатной прессы от государственного контроля. Это одновременно и экономический результат, и юридически закрепленный статус, и как экономический результат он едва ли гарантирован динамикой капиталистической экономики. Но даже если посмотреть на за-

3. Sen A. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Clarendon Press, 1981.

4. Dikatter F. Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958–1962.

слуги демократии в Индии со всеми должными оговорками и осторожностью, они все равно могут служить блестящей иллюстрацией того особенного, что есть в этой неуловимой идее и что давало ей столь значительный исторический импульс на протяжении последних двух столетий, и ярким доказательством ее способности приносить пользу народу, который сделает выбор в пользу нее.

Однако, как и прежде, самое главное не ошибиться в том, что означает эта способность. Чтобы хорошо себя зарекомендовать на протяжении какого-то времени, политический порядок должен прежде всего приобрести и сохранять авторитет и направлять суждение тех, кто считает, что он действует эффективно, в лучшую сторону. Не все народы в состоянии сделать это в существующих политических условиях. Честно говоря, на данном этапе страдающему народу Сомали нельзя предложить (тем более гарантировать) ничего, что могло бы наверняка послужить ему для этих целей; и едва ли кому-то уже удалось понять, как обеспечить такой политический порядок жителям Афганистана, Демократической Республики Конго или трагически разобщенному населению Ливии. История может быть очень жестока к некоторым народам, и порой она так никогда и не облегчает их участь. Демократия в многообразии ее современных форматов может быть вполне доступна в условиях гораздо более разнообразных, чем можно было себе представить триста лет назад, благодаря ресурсам, исторически имеющимся у обществ, которые уже существуют как общества. Но нет никакого волшебного предмета, который позволил бы вызвать эти ресурсы там, где они печальным образом отсутствуют. Дилемма либерального империализма никуда не исчезла. То, что общество бо-

гаче, лучше вооружено и технологически развито, не служит гарантией того, что оно является более добрым или прозорливым.

Демократия не дала надежной эвристики для поисков латентного нормативного порядка в любом из обществ, которые мы знаем, даже там, где такой порядок заметен. Опыт Индии точно так же подтверждает это не столь пугающее открытие, как и опыт Соединенных Штатов или Франции, Британии или Германии, Ирландии или Греции. Но сколь бы ненадежным ни был механизм, который он дает для суждений о том, что в конечном счете нужно делать, в Индии или где-то еще, независимый опыт Индии сделал из уникального динамизма демократии эвристику, пригодную для достижения самых разных общественных целей, чувств и чаяний, которые действуют в нем так же активно, как действовали в опыте Америки (в описании Токвиля)⁵. Демократия придала гражданскому обществу в Индии бурную биологическую витальность и способствовала его разрастанию. Зачастую она не давала этой многообразной и ускользающей реальности возможности влиять на содержание или результаты государственных решений; но на протяжении всего этого времени она мешала государству сделать очень много из того, что оно, государство, в противном случае охотно сделало бы, и раскрывала самые потаенные места поразительно сложного индийского общества так, как, по всей видимости, не делала ни одна другая эпоха в истории Индии.

Этот бурный и капризный беспорядок по-прежнему может нести в себе больше здравых суждений

5. *Tocqueville A. Democracy in America; Journey to America; Pierson G. W. Tocqueville in America.*

в отношении великих судьбоносных вопросов, стоящих сегодня перед человечеством, чем консенсус советов директоров гигантских мультинациональных добывающих компаний и поставщиков энергоносителей, или даже находящихся под постоянным давлением хранителей государственных бюджетов. Это тоже часть дезориентации, которую создает демократия, и потому еще более неотложно встает вопрос, как отличить ее попытки обратить внимание нашего коллективного разума на то, что нам действительно необходимо научиться признавать и учитывать, от ее очевидной склонности ослаблять и ставить в тупик власть. Возникающее в результате замешательство и паника ставят под угрозу способность тех, кто наделен хрупкой властью, добиваться твердых суждений о многих из тяжелейших проблем, с которыми мы сталкиваемся, и убеждать своих сограждан в неопровержимости этих суждений там, где им удалось их добиться. Вопрос о том, как правильно рассуждать вместе, по-прежнему остается фундаментальным для коллективной жизни человечества, и, как ни удивительно, мы не добились особого прогресса в том, чтобы понять, почему мы судим так сумбурно или почему суждения, которыми мы руководствуемся в самых важных и широкомасштабных действиях, часто имеют катастрофические последствия. Почему граждане Соединенных Штатов продолжают тратить огромную часть своих доходов на откровенно неэффективную систему здравоохранения или почему не могут ограничить свое потребление энергии, чтобы обеспечить своим детям и внукам более безопасное и экономное будущее? На все эти вопросы, конечно, есть хорошо продуманные ответы, приспособленные под самые разные вкусы, некоторые из них вырабатывались в последние годы с большим профессиональ-

ным старанием и изощренностью. В этом контексте важно то, что означает демократия как идея, что, сколь бы убедительно и тщательно ни разрабатывались эти ответы, никто не может быть здраво уверен в том, что их открытие изменит исходы в политическом мире.

Это тоже часть дезориентации, производимой демократией, — та степень, в которой она затрудняет наши попытки рассуждать коллективно, равно как и устрашающие последствия этого затруднения, по крайней мере для нашей готовности так рассуждать. Там, где люди знают только то, где они, с их собственной точки зрения, находятся, и видят только то, что им нужно выбрать, демократия вовсе необязательно будет их дезориентировать или ослаблять их способность принимать решения и поступать в соответствии с ними. По всей вероятности, в силу разных причин и на протяжении довольно длительного времени в таком счастливом положении находился демос Афин⁶; и, конечно, политическую историю Соединенных Штатов, Британии, Франции или даже ФРГ за какой-то определенный период можно рассказать так, что будет казаться, что их народы имели благодаря этим институтам твердые ориентиры и были подготовлены демократическим образом принимать решения о том, как им действовать, в соответствии с вескими основаниями, которые у них имеются. Но если рассказывать историю любого общества в этих категориях, придется очень тщательно подбирать даты: не начинать слишком рано и не слишком затягивать; и даже в этом случае неверно было бы

6. Ober J. The Original Meaning of 'Democracy'; Finley M. I. Politics in the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

связывать удачный выбор ориентиров с порядком принятия ими решения. Эта удачливость определяется самими структурами коллективной жизни, предшествующей ясностью и, в какой-то степени, валидностью их нынешних суждений. Как механизм решения, демократия сама по себе никогда не может дать этой ориентации. В лучшем случае она фиксирует и воплощает в себе ориентиры, которые уже наличествуют. Там, где таких удачных общих ориентиров нет (нет очевидного общего интереса), демократический способ принятия решения порождает либо случайную путаницу, либо случайное везение. Такой образ мысли может показаться старомодным или откровенно неполиткорректным. Но более новые моды не смогли себя зарекомендовать. Это, конечно, не означает, что можно сделать ставку на любого начинающего автократа, тем более не означает, что автократия вообще имеет какие-то заслуги, чтобы делать на нее ставку. Это просто означает, что мир политики остается очень опасным местом и что было слишком глупо с нашей стороны считать недавние успехи демократии эффективным способом устранения или уменьшения этих опасностей.

В том, как демократия прошла через всю современную мировую историю, есть что-то очень мощное и вдохновляющее. Что-то в идеях, которые вызвал к жизни этот термин, переходя из одного языка в другой, придавало сил мириадам угнетенных людей перед лицом боли и страданий, уготованных им теми, кто ими правил или их эксплуатировал. Эти силы сделали демократию источником, равно как и вектором, власти. Но поддержка, которую власть оказала демократии как способу политической легитимации и набору институциональных форм, не смогла сделать из нее полезный

принцип, которым люди могли бы руководствоваться, определяя, как им разумнее поступить. Это резкое суждение оскверняет один из главных культов нынешних обществ, но тем не менее совершенно не противоречит политическому опыту, накопленному за время существования любого из них. И едва ли оно будет противоречить опыту какого-то общества в будущем. Почему такое банальное наблюдение стало казаться таким порочащим?

Отчасти это слово стало так звучать из-за сдвига в значении термина, произошедшего за последние сто пятьдесят лет. Никто из носителей классического древнегреческого языка, насколько нам известно, не считал, что слово *demokratia* — синоним хорошего правления, хотя многие греки отдавали предпочтение демократии в своем понимании как форме управления их собственным полисом (и зачастую и другими полисами тоже). Однако сегодня в политическом дискурсе все большего числа стран по всему миру, и сильнее всего в Соединенных Штатах, демократия очень часто стала восприниматься и означать именно хорошее правление, не как правление с гарантированно благотворными последствиями, но как правление, осуществляемое на самой подходящей основе и безукоризненными средствами, в полной мере санкционированное народом и осуществляемое в духе и посредством процедур, которые народ недвусмысленно выбрал, или с помощью средств, которые он безусловно одобрит. Понятая таким образом демократия, несомненно, становится критической категорией, которая к тому же обычно дистанцируется от существующего разброса мнений самого народа. Но *демократия*, в том числе в речи того же народа, еще и конвенциональный термин для обозначения политического порядка, посредством которо-

го этим народом управляют и который слишком часто вступает в антагонистическое противоречие со многими из его самых насущных целей и глубоких интересов.

Термин, употребление которого, таким образом, колеблется между авторитетным стандартом правильного поведения и практическим характером существующего режима, легко вызывает путаницу даже у тех, кто должен ясно мыслить и говорить в силу своих профессиональных обязанностей. Тем более он может многих запутать в активном употреблении, в суматохе политической жизни. Почему сегодня зашло в тупик американское государство, почему стало таким капризным и дисфункциональным — из-за демократии или вопреки ей? Можно доказать и то и другое в зависимости от того, что вам слышится в этом термине. На что вы не можете рассчитывать, так это на то, чтобы избавиться от этой путаницы, капризов и дисфункциональности, доказав, что у вашего терминологического выбора больше достоинств. Так что этот терминологический спор никак не касается политического вопроса о том, кто или что несет ответственность за эту путаницу, капризы и дисфункциональность; а сами эти капризы еще больше усугубляются ощущением, что политические оппоненты либо сами запутались, либо мошенничают, и к тому же непоправимо ошибаются.

Легко понять, как возникла эта путаница. Основное допущение и главный секрет политической привлекательности формы правления, которую мы обычно называем демократией, — воплощение, или по крайней мере стремление воплотить такой принцип принятия политических решений, который справедлив по отношению к каждому гражданину, потому что он относится к каждому как

к равному. Символическая форма этого обязательства сегодня — номинально равноправное голосование, равноправное не только с точки зрения предоставления права голоса, но и с точки зрения его будущей каузальной действительности. Это, конечно, более удачный символ, чем полное отсутствие голосования или откровенно неравноправный учет голосов на тех или иных основаниях. Но это номинально равноправное голосование мимолетно и на длительные периоды времени вступает в область плотной каузальности, которая лишь в малой своей части структурирована равенством и потому лишь изредка может быть изменена этим голосованием и почти никогда не изменится радикальным или долгосрочным образом.

Едва ли дело может обстоять иначе в мире, который стал еще более капиталистическим и где только лингвистическая привычка все еще поддерживает иллюзию того, что кто-то из нас способен представить, как его можно перестроить на каких-то иных основаниях. Выражаясь достаточно абстрактно, равноправное голосование оказывается более подходящим заместителем для более справедливой основы, на которой группа людей принимает необходимые ей решения, чем любая другая конкурирующая основа, сопоставимая с ней по экзистенциальной непосредственности или воображаемой интеллигентности. Но любое современное государство, тем более государство таких размеров, как Соединенные Штаты, постоянно принимает и обеспечивает выполнение огромного количества заранее определенных решений. Решения, которые принимают их избиратели, когда отдают свои голоса, с пугающей скоростью растворяются в хаосе их неудовлетворительного исполнения, зачастую не оставляя никаких следов

на уровне результатов. Ни сами принимаемые решения, ни основания, на которых они принимаются, ни даже конкурирующие друг с другом аппараты оценки, снабжающие главных участников обоснованиями и оправданиями для их целей, не доходят напрямую до тех, от имени кого они принимаются, и кто, скорее всего, уполномочил принимать решения от своего имени. В результате, естественно, возникает впечатление, что какое-то управление есть, и оно действительно есть, хотя и осуществляется каким-то совершенно непонятным образом. Нет ощущения, и самого факта, «управления по очереди»⁷.

Предпосылка легитимации, однако, — не просто вежливый вымысел, каковой она, по всей видимости, до сих пор является в Китае и каковой уж точно представлялась в Египте при президенте Хосни Мубараке. Конечно, она — вежливая, и в значительной мере вымысел, но это вымысел с очень вескими последствиями. Некоторые из этих последствий происходят от того аспекта, в котором она отнюдь не является вымыслом. Они связаны с тем, как принципиальное утверждение этой предпосылки отражается на стимулах политиков, которые решат ею руководствоваться; и они дают наилучшие основания для того, чтобы рассматривать ее как самое подходящее обозначение для указанной формы правления. Решающую роль в данном случае играет направление каузальности. Там, где основанием для действий политиков становится заранее известный выбор демоса и награды, которые политики ожидают от того, что будут воплощать этот выбор в жизнь, демократия — идеальное название для основы принятия решений.

7. *Aristotle. Politics.* Cambridge: Harvard University Press, 1932.

В этих случаях нет практического расхождения между демократическим отбором указанных политиков и демократическим выбором исхода. В важных областях действующей представительной демократии, и в особенности в той ее части, которая недоступна для выборных политиков, подобную причинную зависимость проследить невозможно. То, что происходит, может происходить под эгидой демократии, но происходит отнюдь не по причине чего-то, интеллигбельным образом вытекающего из демократии. Происходящее просто нельзя предсказуемым образом вывести из структуры стимулов возобновляемого электорального выбора.

Но если указанная электоральная политика не обладает способностью к гипнотическому внушению, если условия политической конкуренции и результаты государственной деятельности при представительной демократии неизбежно вызывают разочарование, а принимаемые решения, как правило, очень слабо отражают четкую, твердую и неслучайную цель, то почему так важно, что они принимаются под эгидой демократии? Совершенно ясно, что в каких-то обстоятельствах это совершенно неважно. Если демос придерживается приблизительно одного и того же мнения, политики, которых он выбирает или выбрал для себя, в основном разделяют его вкусы, а исход, который каждый предпочитает, не приносит чистого вреда, выбор демоса не потребует защиты, никто не будет оспаривать демократический характер принятия решения и мало кого будет волновать вопрос, руководствуются ли политики в своей деятельности заранее известным выбором демоса.

Возможно, это важнее там, где есть более неопределенный выбор или где известно, что цели политиков резко расходятся с определенными

предпочтениями большинства демоса. Там, где никто из заинтересованных лиц не понимает, что происходит или что поставлено на кон, демократия лишена возможности честно направлять выбор в лучшую сторону в той же степени, что и любая другая политическая форма. Но ее предположительное право действовать по-прежнему остается путеводной звездой, принося покой и расслабленность, которые она никак не оправдывает. Где по-настоящему важно, демократическим или недемократическим образом принимаются решения, так это там, где выбранные политики сознательно решают бросить своими действиями вызов заранее известным предпочтениям большинства, его предположительному авторитету и тем не менее все равно требуют признать, что их решения были приняты под эгидой демократии. Некоторые из этих случаев совершенно очевидны и могут иметь фундаментальные последствия: например, решение тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра присоединиться к американскому вторжению в Ирак. Тони Блэр во многих контекстах активно апеллировал к демократии; но если это решение было совместимо с признанием права демократии определять государственные решения, то тогда трудно будет найти решение, которое не было бы.

Если *демократия* стала самым мощным термином легитимации в глобальной политической речи, отсутствие у нас ясного понятия о том, что именно она легитимирует, должно быть серьезным недостатком. Конечно, именно ее мощь делает ее столь привлекательной и спорной, но в то же время, конечно, она — не единственное, что усложняет процесс контроля и оценки сложившихся в результате разногласий. Этот процесс особенно затрудня-

ет глубоко заложенная в этом термине двусмысленность. Лабиринт современной демократии — яркая черта реального политического мира, в котором сегодня живут очень многие, но вместе с тем это еще и широкая словесная ткань, и эта ткань, и мир, произносящий эти слова, сегодня неразрывным образом влияют друг на друга. Они превратились в единую структуру.

В хорошем лабиринте легко заблудиться, а заблудившись, нелегко выбраться. В каждом настоящем лабиринте должен быть хотя бы один выход — тот, который послужил входом. Ясно, что мы не можем выбраться из лабиринта современной демократии, просто вернувшись обратно той же дорогой. Мы не можем обратить время вспять, и мало кто из нас хочет вернуться к старому режиму любого рода. Мы также не можем надеяться на устранение множества других источников путаницы в реальном политическом мире, в котором мы живем, если распознаем дорогу, по которой попали туда, где мы теперь находимся. Сегодня мы можем разумно надеяться только на то, чтобы развеять гипнотические чары, которыми нас пленяет термин *демократия*, поняв, как именно он пленяет нас этими чарами. По любым человеческим меркам нелепо остаться с одним-единственным термином для обозначения того, где мы сейчас находимся в мировой политике, и того, что мы ценим и на что уповаем в этой самой политике, термином, который так притязает на авторитет, но в то же время бесконтрольно лавирует между официальным названием режима конкретных государств в том виде, в каком они существуют сегодня, и названием наилучшей основы для принятия самых фундаментальных решений, отражающихся на жизненных возможностях людей

по всему миру. Демократия не может быть хорошим названием одновременно и для американского государства и институтов, которые структурируют его публичные решения и определяют их последствия, и для основы, на которой люди всего мира сообща принимают справедливые решения об общем будущем. Вы можете задаться вопросом, насколько термин *демократия* подходит для определения одной из этих областей, но вы не сможете разумно защищать тезис о том, что существует некий термин, пригодный для одновременного обозначения их обеих. Нет ни одного термина или понятия, которые подошли бы для определения второй области, хотя «справедливость» и «польза» неплохо показали себя в этом соревновании. Требования справедливости всегда существенно отличались от апелляций к пользе. *Fiat justitia et ruat coelum*, «Пусть свершится справедливость, даже если рухнут небеса», — лозунг не для утилитаристов. Сегодня для нас рухнувшие небеса — вполне подходящая метафора для обозначения судьбы, которую мы, сами того не ведая, но с огромным упорством, навлекаем на себя.

Если демократия — это форма правления, как минимум институциональная структура для определения и установления направленного легитимного принуждения на данной территории и для данного народа, ее связь и со справедливостью, и с пользой сомнительна, и нет никакой очевидной причины *ex ante* ожидать, что она приведет к тому или к другому, причем в случае ее удачи даже меньше, чем в случае неудачи. Если бы существовал способ раз и навсегда определить, что следует делать всем и каждому, чтобы распределить жизненные возможности в мире, такой способ заключал бы в себе авторитет, направленный про-

тив любой возможной формы правления и любого конкретного правительства, действующего в мире. Но такого способа нет, и в его отсутствие мы больше всего нуждаемся в политических категориях для того, чтобы контролировать и управлять теми правительствами, которые у нас есть, принуждая их принимать решения и действовать с меньшим ущербом, чем они до сих пор привыкли это делать.

В этой бесконечной и, конечно, изнурительной борьбе, внутри нашего демократического лабиринта перед нами встает неотложная задача понять, когда демократия как политическая идея все еще может помочь нам лучше рассуждать, а когда она только усугубляет путаницу. Если мы оглянемся на путь, по которому шли, демократия все еще может улучшить нашу способность судить о структуре и легитимации отдельных режимов. Она не сможет нам помочь судить о чем-либо, если мы продолжим настаивать, что она является основанием, легитимирующим индивидуальные решения любого масштаба, кроме самых незначительных. Что делать, а чего не делать в мире, неизбежно зависит от последствий того, что мы действуем именно так, а не иначе. Достоинства любого способа принятия конкретного решения не могут быть изолированы от его практических последствий. Конечно, то, что решение принимается на надлежащем основании и надлежащими средствами, является его достоинством, и идея демократии может пролить некоторый свет на то, какие основания и средства могут считаться надлежащими. По крайней мере она может указать на некоторые из основ принятия решений и средств их осуществления, которые уж точно надлежащими не являются. (В случае британского вторжения в Ирак совместно с американцами моральные убеждения конкретного политического

агента, принимавшего соответствующее решение, сколь бы популярным он ни был на ранних стадиях своей карьеры, всегда были очень плохим кандидатом для оправдания достоинств какого-либо решения вообще.) На каком бы основании ни принималось решение, даже если оно пользуется поддержкой подавляющего большинства населения, должны быть более весомые и более важные достоинства, чтобы оно оказалось благотворным для мира.

С этим вряд ли кто-то будет спорить. Больше споров вызывает вопрос о том, почему это так важно для непростого политического положения демократии в сегодняшнем мире. Этот вопрос делает таким важным страшная путаница в нашем осмыслении политики в мире, в котором мы живем, и опасно непродуманный характер многого из того, что мы с таким упорством продолжаем сегодня делать. Хотелось бы думать, что второй из этих факторов, наша страшная коллективная безалаберность внутри отдельных государств в сочетании с взаимодействием между этими государствами в рамках совершенно непрозрачной глобальной экономики, преимущественно является следствием путаницы в наших мыслях. Но это, увы, не так. Возможно даже, что нет никакой связи между путаницей в наших мыслительных процессах и неудачным характером наших общих интеракций; но есть все причины в этом усомниться, и, естественно, нам легче побороть путаницу в собственных мыслительных процессах, чем преднамеренно взять под более жесткий контроль непреднамеренные последствия наших действий, тем более взять под контроль последствия нашего взаимодействия друг с другом в масштабах всего мира, не входившие ни в чьи намерения. Учитыв-

вая, какой хаос несут с собой злоключения демократии, мы можем надеяться на то, чтобы добиться большего.

Многие аспекты той тупиковой ситуации, в которой мы оказались, не поддаются разрешению. Коллективное действие по-прежнему во многом остается и, наверняка, будет оставаться слишком сложным проектом. Неслучайно теория игр занимает столь видное место в подготовке политологов. В значительной мере наше сегодняшнее затруднение связано не столько с тем, что мы не способны увидеть, что надо делать, сколько с нежеланием это делать. Но помимо дилемм коллективного действия и глубоко заложенной в нас склонности предпочитать кратковременный комфорт и удобства долговременной безопасности и процветанию, есть еще один ключевой элемент, который существенно примиряет нас с трясинной, в которую нас затянуло: ее псевдомодемократическое происхождение. Нежелание хотя бы чуть-чуть поступиться комфортом и удобствами, которому с неиссякаемым хитроумием и упорством потакает организация нашей экономической жизни, — не та черта человеческих предпочтений, которую легко исправить. Наши текущие приоритеты могли бы изменить только более глубокое понимание масштаба риска, которому мы решили себя подвергнуть, и то, что до сих пор мы себя им подвергали на достаточно узком отрезке времени.

Научиться лучше рассуждать, пока не станет слишком поздно, — это вызов, который может принять или не принять научная мысль. Но даже если этот исключительный когнитивный вызов все-таки будет принят, мы уже успели продемонстрировать, что слишком плохо организованы, чтобы превратить этот выигрыш в понимании в эффективное

политическое действие⁸. Лабиринт демократии сегодня — это не только интеллектуальный тупик. Это еще и ясная и реальная политическая угроза, которая в перспективе имеет все шансы оказаться еще и биологической катастрофой.

Один из плодов сегодняшней профессионализованной и коммодифицированной демократии и разделения политического труда, к которому она приводит, — псевдодемократическая легитимация подавляющего большинства решений, открыто носящих публичный характер, едва они захотят получить такую легитимацию, и постоянная псевдодемократическая легитимация всей структуры завуалированных или непредумышленных решений и нерешительности, в которую встроены эти публичные решения.

В этих условиях разговоры о демократии успокаивают и дезинформируют. Чтобы заблокировать их наркотическое воздействие и восстановить некоторую ясность, хотя бы на уровне легитимации, в понимании того, что происходит, нам придется менять наши словесные привычки и весьма радикально перестраивать мышление. При внимательном рассмотрении это псевдодемократическое происхождение основывается всего лишь на незаметной игре слов. Существуют критерии демократических решений, но эти критерии, совершенно очевидно, неприменимы к огромному большинству открыто публичных решений даже в самих Соединенных Штатах Америки и трудно понять, как они хотя бы гипотетически могут применяться к завуалированным решениям или непредумыш-

8. *Dunn J.* The Emergence into Politics of Global Environment Change // *Encyclopaedia of Global Environmental Change*. London: John Wiley. Vol. 5. P. 124-136.

ленным решениям где-нибудь еще. Чтобы блокировать обезболивающий эффект псевдодемократической легитимации почти всего, что делают Соединенные Штаты или их аналоги как государства, нам нужно признать, что демократия никогда не может быть выведена логическим путем из любых частных решений, за исключением настолько ограниченных сред, что они едва ли могут быть включены в текущую жизнь государства. Если бы мы приняли решение употреблять предикат «демократический» более экономно и только для того, чтобы различать между собой режимы как целое, и прекратили бы фатально расширять его на конкретные государственные действия, мы смогли бы лучше понять вызовы, с которыми сталкиваемся, и имеющиеся у нас ресурсы для того, чтобы на них отвечать. Мы также могли бы надеяться на более систематической основе сохранить убеждение, что государства, гражданами которых мы являемся, легитимны, и имеют правительства, которые были легитимированы в том порядке и в том смысле, в котором государства, в которых живут граждане Китая или подданные короля Саудовской Аравии, до сих пор остаются нелегитимированными. Даже это убеждение должно быть принято с большими оговорками.

Демократические государства, как и любые другие формы государства, считают себя легитимированными сверх всякой меры. Как любезно пояснил Гоббс три столетия назад, государство обязано выступать с подобной претензией, если хочет оказать те услуги, которые дают ему основание для существования⁹. Оно должно быть свободно и иметь полномочия для принятия решений и должно

9. *Hobbes T. Leviathan. Oxford: Clarendon Press, 2012.*

быть наделено правом, в рамках некоей внутренней системы самосознания, обеспечивать выполнение решений, которые оно принимает. Но это политический принцип, а не эпистемический вывод. Он ничего не говорит о достоинствах данных решений. Если смотреть на это с точки зрения Гоббса, то же самое можно сказать в отношении решений государства, которое мы можем считать демократическим, даже если сам Гоббс относился к последнему с особым подозрением. Предметом легитимации становятся право и обязанность решать, а не содержание самих решений. Последующие теории, включая некоторые влиятельные современные течения, опасно размыли отношения между получением права и его содержанием.

Вы можете понять, почему это важно, если рассмотрите вопрос о том, каким решениям следует больше доверять — тем, что принимают Соединенные Штаты или Индия, или тем, что принимает Китайская Народная Республика. Решения последней, при том режиме, который ею сейчас управляет, часто оказывались крайне опрометчивыми, и никто не возьмется утверждать, что они были легитимированы народом, которым эта власть управляет, в том смысле, в котором мы это понимаем. Они рождаются не в контексте свободного публичного обсуждения и принимаются и осуществляются порой в крайне гнетущих обстоятельствах, которые не оставляют тем, кого они угнетают, никакой надежды на избавление. Но делает (или делало) ли это их менее удачными в том, что касается их влияния на жизненные возможности большинства жителей Китая, чем аналогичные решения, принимавшиеся в течение трех последних десятилетий правительством США? Если да, то это показывает, что есть хотя бы слабая вероятностная связь

между легитимацией политической власти и потенциальным качеством государственных решений. Пока еще никто не выдвигал более последовательного аргумента, который приписывал бы это воздействие заслугам демократических государств. Нет причин отдавать предпочтение автократии, и личное угнетение от этого ничуть не становится менее отвратительным. Но есть причина признать, что в легитимации, которая стоит за принятием публичных решений в современной демократии, нет ничего такого, что могло бы гарантировать, что эти решения или их последствия окажутся вне подозрений. Поскольку демократические правительства видят и переживают свою легитимность с большой самоуверенностью и рассуждают о ней более велеречиво, чем их соперники-автократы, это суждение имеет значение и оно будет еще важнее всегда, когда эти решения ведут к особенно неблагоприятным исходам.

В данном случае расхождения между притязанием и обоснованием показывают, что демократия гораздо более убедительна как парадигма для лишения легитимности тех, кто находится у власти, чем для их легитимации. Демократия лишает действующую власть легитимности всегда, когда она свергает отдельных лиц, стоящих у власти. Как нам снова довелось увидеть во многих частях мира в начале третьего тысячелетия, она может одинаково убедительно делать это как на улицах, так и у урн для голосования. Единственное, чего она не может сделать с той же решительностью, так это легитимировать отдельных держателей власти, и чего не может сделать практически никогда, — так это легитимировать отдельные государственные решения, если только параметры этих решений не кристально ясны сами по себе и могут

в этой форме быть представлены демосу, достаточно подготовленному, чтобы их понять. Особенно неубедительно считать, что повторяющиеся общенациональные выборы, даже если они проводятся в условиях добровольного участия и обеспечивают гражданам неограниченные и равноправные возможности общаться друг с другом и получать информацию, чего почти никогда не бывает ни в одном современном государстве, могут оправдать конкретные решения, которые в дальнейшем принимают их победители.

Я уже говорил, что нам нужно научиться совершенно по-иному понимать демократию: видеть ее более ясно, прислушиваться к ней с меньшим самодовольством, более точно понимать, откуда происходит ее сила, и не закрывать глаза на предел ее способности руководить нашими политическими целями. Чтобы это сделать, нам сегодня необходимо понять исторический процесс, который сделал демократию частью того, как мы сегодня видим и чувствуем политику и пытаемся ее понять. Берусь выдвинуть еще более рискованное и амбициозное утверждение, сказав, что наша общая неспособность все это сделать значительно усугубляет многие из худших опасностей, которые сегодня угрожают нам как биологическому виду. Нам необходимо найти выход из лабиринта, которым стала для нас сегодня демократия, и максимально прямо и ясно взглянуть на те поразительные решения, которые нам предстоит принять.

Эта потребность становится все более настоятельной, но происходит это неравномерно и неустойчивыми темпами. Осенью 2008 года эта потребность резко возросла перед лицом трех серьезных и очень разных угроз. Первой был хаос, вызванный потрясениями на глобальных финансовых

рынках, — плод пугающих уровней неосмотрительности и всеобщей необузданной алчности¹⁰. Вторая угроза, также незаметно порожденная самими людьми, ныне распространилась по всему Магрибу от Марокко до Египта, на север через Сирию и на восток через Персидский залив. Третья угроза была, по своему происхождению, нечеловеческой, как все природные процессы, и ее воздействия испытали на себе северные острова Японии. Все три события будут иметь огромные и длительные политические последствия, контур которых пока еще едва угадывается. Каждое говорит нечто фундаментально важное о демократическом лабиринте. Народные волнения, охватившие арабский мир, еще раз незабываемым образом продемонстрировали харизматическую силу демократии, лишаящей легитимации действующих правителей и режимы. Мужество и стоицизм, с которыми японский народ отреагировал на хаос, захлестнувший страну, были характерны для него задолго до того, как кто-либо из его предков услышал слово *демократия*, но даже эта глубокая культурная и социальная сила сникла перед совершенной неспособностью организовать материальные основания жизни на безопасной и подотчетной основе, которую под этим диким, нечеловеческим давлением продемонстрировал крайне косный местный извод демократии. Многие связывали этот провал со слабостью именно этого воплощения демократии — изолированным, местническим, эгоистическим и династическим характером среды карьерных политиков

10. *Lewis M.* The Big Short: Inside the Doomsday Machine. London: Penguin, 2011; *Cassidy J.* How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009.

и их полной подчиненностью бюрократическому государственному аппарату, который существовал задолго до них и, с точки зрения большинства граждан, легитимирован на более архаических основаниях. Но в этой обстановке просто ярче проявились характерные черты профессиональных политиков всех существующих представительных демократий; а глубокий провал японского государства, как в его бюрократических, так и демократических аспектах, был прежде всего когнитивным — жалкой неспособностью признать риски, на которые оно пошло, и принять меры с учетом их масштаба. Даже с точки зрения демократии этот провал в большей степени указывал на трусость и бессилие среды профессиональных политиков, чем на какую-то неправильную силу, противопоставленную остальному населению. Вам не нужно быть сильным, чтобы оставаться в состоянии комфортной коррумпированности; но вам потребуется сила, чтобы принимать и претворять в жизнь дорогостоящие решения, чью необходимость остальные граждане всегда будут признавать только с неохотой. Времена, когда японское правительство обладало такого рода силой, давно прошли.

Обагранные кровью пески Ливии и развалины Сирии — яркое свидетельство силы демократии как категории политической ориентации и одновременно ее уязвимости. Свержение тиранического режима путем лишения его раз и навсегда воображаемого авторитета — воодушевляющий политический опыт, но он мало что дает для построения нового режима, который имел бы собственный авторитет¹¹. Как сказал Мухаммед Мурси, выступая в качестве избранного президента Египта, перед

11. Financial Times. London, 30 June 2012. P. 8.

десятками тысяч своих сторонников на площади Тахрир накануне инаугурации: «Министры, правительство, армия, полиция, все слушают меня, когда я говорю, что нет власти выше этой власти, нет никакой власти выше вашей. Вы — правители. Вы — источник этой власти и авторитета»¹². Одни наверняка слушали внимательнее других, но никто в Египте не мог себе позволить игнорировать то, на что указывал Мурси. Наблюдать за тем, как автократическое правление снова подчиняет себе даже ту часть народа, которой удавалось избегать подчинения, — это душераздирающий опыт, потому что в этот момент единственной формой борьбы становится гражданская война. У гражданских войн, как прекрасно известно американцам, не бывает реальных победителей, хотя у них, несомненно, есть проигравшие. Отчетливо видно, что демократия не дает права ввязываться в чужие гражданские войны, даже на стороне тех, кто выступает от имени демократии, хотя она и дает больше оправданий для вмешательства в чужую войну, чем для начала гражданской войны, которую нет возможности довести до конца. Если и было какое-то минимальное право вмешиваться в войну в Ливии, оно было обосновано не притязаниями демократии, а обязанностью попытаться, по мере возможностей любого из нас, защитить людей от геноцида. Эта обязанность требует способности обеспечить защиту (которой у нас в конечном счете может и не оказаться). Там, где она применяется, она одинаково применима ко всем, кого расстреливают из автоматов или рубят на куски, независимо от того, являются ли они друзьями

12. Речь Мухаммеда Мурси от 29 июня 2012 года. www.ikhwanweb.com/article.php?id=30153.

мстительных автократов или восставшими демократами. Эта способность не может основываться на предварительных политических предпочтениях.

Более яркий символ сегодняшней дезориентации демократии — градирни Фукусимы. В Фукусиме, живее и конкретнее, чем где-либо и когда-либо прежде, становится ясно, что мы испытываем безотлагательную потребность в том, чтобы пересмотреть и перестроить всю причинно-следственную сеть, внутри которой живет наш биологический вид. Мы можем увидеть, как необыкновенно трудно понять эту сеть, и как нелегко будет вместе решить, что мы теперь должны делать в ней и с нею и когда мы это будем делать, как распределить затраты. Как только мы на этом сосредоточимся, то сразу же увидим, насколько неподходящими для решения любой из этих задач окажутся политические режимы, которые мы изобрели под эгидой демократии.

Тревога Сирии и скудные и топорные инструменты, которые у нас есть, чтобы попытаться ее успокоить, конечно, заслуживают того, чтобы на них остановиться, но это не единственное, на чем сейчас следует останавливаться. Даже в самые темные времена перед демократией стоит неотложная задача понять, как в ведущих западных обществах нас сейчас подводят унаследованные нами политические институты и как мы подводим себя и наших потомков, будучи не в состоянии понять, как и почему они нас подводят и насколько то, из-за чего они нас подводят, проникло в нашу привычку думать, говорить и воспринимать политику и захватило ее. Пусть лабиринт демократии — это часть мира, прекрасно. Но это также и совокупность всех этих привычек. Поскольку мы не можем сбежать от этого мира и поскольку

многие из этих привычек связывают нас и мешают отвечать на вызовы, которые он бросает, мы остро нуждаемся в том, чтобы, обойдя их, добраться до менее нарциссических и местнических форм понимания и научиться действовать лучше.

Но как нам это сделать? Это, среди прочего, задача для крупнейших университетов мира, потому что именно там собирается вместе значительное число людей, у которых есть время на то, чтобы тщательно рассматривать вопросы, свобода смотреть на них честно и способность перестать видеть в них что-то низкое и начать понимать их суть. Каждый их специфический аспект уже находится в фокусе изучения в институтах, хорошо пригодных для этой цели. Но было бы ошибкой рассматривать эти отдельные аспекты в сводной форме, просто как статическую сумму. Каждый из них представляет собой единый, крайне нестабильный процесс, и все вместе они непрерывно оказывают воздействие друг на друга. Вклад политики как одного из этих аспектов одновременно очень трудно поддается пониманию и, очевидно, занимает центральное стратегическое место. До сих пор такая дисциплина, как политология, не добилась особых успехов в понимании этого вклада, да и сама не внесла особого вклада в то, чтобы показать, как на него реагировать¹³. Научно-эпистемическая рубрика, господствующая в данной профессии в Северной Америке, фактически исключает возможность того, что те, кто ею занимается, могут воспринимать ее в сводном виде, и может только отбить у более восприимчивых учеников желание рассматривать ее в таком ключе. Она может во всех подробностях показать, почему ма-

13. *Dunn J. The Emergence into Politics of Global Environment Change.*

довероятно, что положение улучшится в короткие сроки, но, по сути дела, поклялась высокомерно и по-ханжески молчать о том, как заставить ситуацию измениться.

«Кто учит учителей?» — это старый политический вопрос в вольном переводе, один из старейших политических вопросов, до сих пор известных людям Запада. Ошибочно полагать, что это не такой уж срочный вопрос для демократии, и ошибочно не признавать, учитывая, в какую тяжелую экологическую и политическую ситуацию мы сегодня попали, насколько ее тяжесть делает этот вопрос еще более срочным. Чего бы ни достиг сегодня великий университет, каким бы многообразным он ни был и сколько бы достоинств ни накопил, он должен выпускать всех своих учеников в мир с пониманием по крайней мере этого затруднения. Суть моего аргумента проста. Когда мы поймем, как и почему произошел глобальный подъем демократии как средства предположительной легитимации, мы увидим, что он настолько же облегчил это затруднение, насколько его усугубил. Опасности, вызванные этой неудачей, сделали первейшим гражданским долгом для всех нас, и первостепенной профессиональной обязанностью для политологов в частности, сдернуть с этого затруднения покров демократии и помочь всем нам понять, что мы теперь должны делать перед лицом неумолимо структурированного хаоса, который мы все вместе создали.

Но можем ли мы в действительности что-то сделать? Действительно ли наша политическая и тем самым социальная, экономическая, а теперь еще и биологическая судьба у нас в руках? Не является ли неослабевающий импульс верить в это жалким самообманом? На этот вопрос можно взгля-

нуть и так: если это самообман сейчас, то он должен был быть самообманом на всем протяжении сознательной истории человеческого вида. Мы действовали так, как действовали, потому что мы такие, какие мы есть. Мы, конечно же, запустили много процессов, которые будет трудно, а может быть даже невозможно взять под контроль. Но то же самое происходило и в более скромных масштабах на протяжении всей нашей истории. Это не новая структурная особенность положения человека, просто мы лишь недавно начали ее замечать с вполне обоснованной тревогой. Если мы можем действовать эффективно с учетом того, что мы уже сделали, то мы можем добиться этого путем углубления понимания природы и общего воздействия наших собственных действий и сил, который мы можем создавать и использовать для того, чтобы остановить и повернуть вспять бесчисленные формы разрушения.

Я подчеркнул особую роль университета в решении этих вопросов, потому что лекции памяти Генри Стимсона, которые я прочел, читались в Йеле и *перед* Йелем, равно как и *для* Йеля и потому что Йель, без всяких сомнений, — великий университет, который стремится просвещать весь мир, а не только будущую американскую элиту и тех людей из других слоев общества, наделенных выдающимися способностями, которых он может в эту элиту завербовать. Но что, если мнение, что великий университет может внести действенный вклад в решение этой общей задачи, — тоже всего лишь самообман, естественная и слишком нарциссическая фантазия тех, кто имеет привилегию в нем преподавать и жить за его счет?

На данный момент великие университеты — привилегированные места для понимания масшта-

бов и взаимосвязи вызовов, которые перед нами стоят. Они могут попытаться думать совокупно и собрать воедино все когнитивные усилия, необходимые для того, чтобы это сделать. Совершенно очевидно, что ни один из них пока еще не демонстрирует особого дара в достижении этой цели. Но потому, что они уже есть и потому, что именно это то, что сейчас нужно, и потому, что эта потребность очень остра, сам бог велел им этим заняться. Принятие на себя обязательств никогда не гарантирует их выполнение. Но часто именно с этого следует начинать, оказавшись в чрезвычайной ситуации. Могут ли люди действовать лучше в условиях хаоса, который они вместе создали? Ответ на этот вопрос может быть только утвердительным. Будут ли они действовать лучше, а, главное, будет ли достаточно этого улучшения? Вполне вероятно, нет. Но это такой вывод, с которым нет никакого практического смысла спешить. Биологический вид, находящийся на грани самоуничтожения, даже идущего относительно медленными темпами, имеет все основания для того, чтобы изменить поведение. Но все равно это будет вид, выбравший такие действия, которые создали этот риск. Насколько люди поддаются обучению? В конце концов они сами это выяснят.



ДЖОН ДАНН
НЕ ОЧАРОВЫВАТЬСЯ
ДЕМОКРАТИЕЙ

ДЖОН ДАНН — заслуженный профессор политической теории Королевского колледжа в Кембридже (Великобритания), один из основателей «Кембриджской школы» истории политической мысли, автор многочисленных работ по истории политических понятий и идей.

Всякий раз, когда говорит Данн, звучит тревожный звонок. На этот раз его предметом стали представления о демократии в Соединенных Штатах, которые он считает самодовольными, запутанными и ограниченными. И он приходит к глубоким, далеко идущим и пугающим выводам.

Адам Пшеворский, профессор политических наук Нью-Йоркского университета

Из множества превосходных философов, занимающихся сегодня вопросами демократии, Джону Данну из Кембриджского университета лучше всего удается описывать ее парадоксы.

Кристофер Колдуэлл, Financial Times

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА